

Инклюзивный

Сергей Петунин (род. в 1987 г.) — уроженец Магаданской области, живет в Новосибирске. Работал в новосибирских СМИ и библиотечной системе. Лауреат премии журнала «Наш современник». Автор литературно-критического блога «Творческое чтение». Победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» (2022).

Повесть «Инклюзивный» — в некотором роде «роман воспитания».

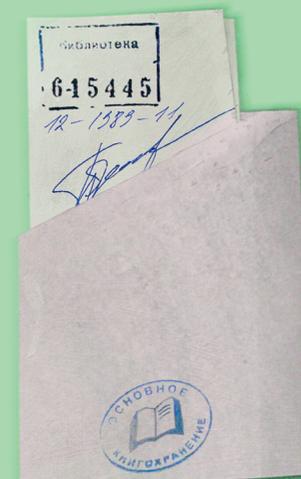
Это история о пробуждении личности внутри героя — молодого библио-

отекаря, чья жизнь стеснена обстоятельствами, но еще более — инерцией, привычкой к рутинному существованию. На героя влияют драматические судьбы двух Других — ближнего и дальнего, современника и исторического лица. И конечно, эта «библиотечная повесть» — о спасительной силе культуры, предания и ремесла.



Сергей Петунин Инклюзивный

Сергей Петунин Инклюзивный



АСЕПИ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Сергей Петунин

Инклюзивный

Библиотечная повесть

Москва
АСПИ
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-443
ПЗ1

Петунин С.

ПЗ1 **Инклюзивный. Библиотечная повесть / Сергей Петунин.** — М.: АСПИ, 2022. — 128 с.

ISBN 978-5-517-09289-2

Сергей Петунин (род. в 1987 г.) — уроженец Магаданской области, живет в Новосибирске. Работал в новосибирских СМИ и библиотечной системе. Лауреат премии журнала «Наш современник». Автор литературно-критического блога «Творческое чтение». Победитель Всероссийского конкурса «Библиотекарь года» (2022).

Повесть «Инклюзивный» — в некотором роде «роман воспитания». Это история о пробуждении личности внутри героя — молодого библиотекаря, чья жизнь стеснена обстоятельствами, но еще более — инерцией, привычкой к рутинному существованию. На героя влияют драматические судьбы двух Других — ближнего и дальнего, современника и исторического лица. И, конечно, эта «библиотечная повесть» — о спасительной силе культуры, предания и ремесла.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-443

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

БИБЛИОТЕКА КАК СПОСОБ ПРОЗРЕНИЯ

Сергей Петунин — молодой прозаик, филолог, литературный критик, сотрудник одной из новосибирских библиотек.

Его дебютная повесть с многозначительным, метафорически выразительным названием «Инклюзивный» — не столько о библиотечных реалиях, сколько о мироощущении молодого гуманитария, человека несовременного склада, в разных пространствах — в кругу книги, истории, семьи и самого себя. Вывести героя из герметичного, напряженного, вечно настороженного состояния может только его символический двойник, и в его роли выступает один из самых незащитных людей на свете...

Повесть затрагивает, пусть и по касательной, очень широкий круг социальных и гуманитарных вопросов — от бедности, сопутствующей образованным и трудолюбивым молодым горожанам, до проблемы принятия Другого, смирения с собой и личной ответственности за несчастья ближнего и дальнего круга.

Сергей Петунин — один из победителей Всероссийской мастерской для молодых писателей, проводившейся Ассоциацией союзов писателей и издателей в апреле 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С радостью представляем эту интересную, необычную, смелую книгу, способную вызвать целую гамму чувств: от полного отторжения героя до горячей любви к нему.

ЧАСТЬ I

**ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ,
КОНТУРЫ ЗВЕРЕЙ НА НЕБЕ,
«ИШЬ РАССЕЛСЯ!»,
ПОЦЕЛОВАННЫЕ
ПИНГВИНЧИКИ И ПОЧЕМУ
МАМА СТАНОВИТСЯ
МАЛЕНЬКОЙ**

Недалеко от нашего дома часто попрошайничала одна безногая.

Утром она появлялась у входа в магазин, а вечером куда-то исчезала. Тело ее кончалось сразу же за туловищем, аккуратно, словно младенец, укутанным красным клетчатым пледом.

Подавали ей мало.

Но женщина не унывала — окидывая веселым взглядом спешившую мимо мрачную реку людей, она что-то заговорщически бормотала и посмеивалась.

С растрепанными седыми космами, лишённая половины тела, но продолжающая жить, о чем-то думать и даже смеяться, она действовала на меня пугающе. Проходя мимо, я всегда старался спрятаться за мамой, но, не выдержав, обязательно бросал на женщину взгляд — как мышонок из-за угла. Однажды, заметив меня, она улыбнулась черной беззубой улыбкой и показала мне левую увечную руку, которую до этого держала под пледом.

Никогда больше я не видел такой руки. Она кончалась не ладонью с пальцами, а похожей на двузубую вилку костью, за годы успевшую покрыться желтой, как у мумии, кожей.

Эта рука, словно неведомая, растущая из тела змея, долго стояла перед моими глазами. Той же ночью она мне приснилась: страшно вращая колеса, она бежала за мной, я нырнул в арку, которая вела во двор, но вдруг натолкнулся на стену.

Обернувшись, я встретил взгляд воспаленных бесноватых глаз. Это был взгляд какой-то другой, незнакомой мне жизни, полной неведомых страхов и ужасов. Проснувшись, я долго плакал, а потом весь день ходил мрачный и молчаливый, подавленный ночным сновидением.

С годами странный страх мой не пропал, а лишь притупился, и, проходя мимо очередного юродивого, я чувствовал холодок странной опасности.

...После филфака я пошел работать в филиал одной московской газеты. Работа вскоре начала раздражать. Темы были скучны, идеи на планерке — примитивны, а слова рождались в моей голове так неохотно, со скрипом, словно там скрывался не живой мыслящий орган, а медлительное недоразвитое существо. Оно никак не могло сообразить, о чем еще захотят почитать наши домохозяйки. Похождения стриптизера Тарзана. Свадьба на коньках. Трехглавая морковь уродилась на участке директора водонасосной станции. Сурикаты в семье Ивановых — ни минуты покоя!

Завершив заметку, я всегда раскаивался: вопросы снова были слабы, а ответы — фальшивы и неинтересны.

Оклада в газете я не получал, а по договору подряда в месяц выходили сущие копейки. Полноценные зарплаты, как я узнал потом, в редакции получали только директор, его заместители и приближенные к ним сотрудники. Остальные сидели на гоночарах.

Иной раз хотелось отложить все срочные статьи и, плюнув на вечный дедлайн, твердой походкой прийти в кабинет редактора и заявить, что все их манипуляции с зарплатами незаконны и противоречат Трудовому кодексу. На это я так и не решился: в кабинете редактора я почему-то терял свое бойцовское красноречие — начинал заикаться, сбивчиво, с трудом подбирая слова.

В то время, бегая по своим журналистским делам, я стал заходить по пути в библиотеку, где видел спокойных интеллигентных людей, которые среди книг и стеллажей занимались неспешной работой. Эти сорок — шестьдесят спокойных минут в середине рабочего дня, когда можно было полистать книги и забыть о журналистской сутолоке, значили для меня очень

много. В здании библиотеки двадцатых годов, похожем на каземат, раньше располагалась первая в городе типография — это было хорошо заметно по кладке здания: два этажа выглядели монолитными, а третий сооружен позже. С заднего двора можно было увидеть и четвертый этаж, возведенный из красного кирпича и незаметный с фасада.

Едва я проходил меж серыми мрачноватыми колоннами, как сразу погружался в особое настроение. Библиотечный мир казался герметичным, защищенным от эпохи, и всякий раз, переступая библиотечный порог, мне хотелось остаться здесь, среди этих умных и вежливых людей. Однажды, в один из таких обедов, я услышал из разговора двух сотрудников, что из отдела увольняется работник. Я сразу понял, что речь идет о той пожилой женщине в очках, которая, обслуживая читателей, очень близко смотрела в монитор.

— Что ни день, то концерт Шаляпина, — сказал сотрудник. — Начальник с ней уже и так и сяк, а она все...

Вернувшись в редакцию, я заглянул на сайт библиотеки: требовался работник в отдел художественной литературы. Подправив небогатое резюме, я, недолго думая, отправил его. В графе «зарплата» стояла совсем скромная сумма, но в газете я получал в два раза меньше.

Из библиотеки вскоре позвонили.

2

Утром, облачившись в старый, но приличный костюм, который когда-то еще носил мой отец (хороший костюм, говорила мама, сейчас так не шьют), я переступил порог библиотеки.

Принаряженного, меня водили по отделам. Узнав, что я буду работать на обслуживании, сотрудницы приятно удивлялись.

В холле второго этажа, перед самым туалетом, в кресле сидел, сложив ногу на ногу, седоватый мужчина в рабочей одежде.

На вид ему было лет пятьдесят. Взгляд у него был таким, словно однажды он крепко задумался и до сих пор не пришел в себя.

— Здравствуйте, — поздоровалась с человеком сотрудница, что водила меня по отделам.

— Здравсьте, здрась-те, — ответил тот, странно растягивая свое приветствие на последнем слоге.

— Кто это? — спросил я.

— Это Максим, наш рабочий.

В зале за кафедрой сидела молодая сотрудница.

— Сергей, наш новый работник, — представила меня провожатая, и я с удовольствием отметил, как порозовели щеки девушки.

Растроганный, уже прокручивая в голове романтический сценарий, я вышел в коридор.

Максим все еще сидел в холле и, наморщив переносицу, казалось, о чем-то напряженно думал. Но, увидев нас в холле, вдруг подскочил и приблизился к нам.

— Вы, вы... знае-те... — забормотал рабочий, — ничего у нас не будет, пока такая власть... П-п-пока правительство не начнет работать, ничего у нас не будет. Так и будет неразбери-ха...

— Да-да, Максим... Ты уже рассказывал, — улыбнулась провожавшая меня сотрудница, но Максим не отставал:

— В г-г-городе г-г-гололед и пыль! Кофеин и ко-каин...

Эту шутку я знал: так выразился однажды наш мэр, комментируя критические реплики в свой адрес на одном из городских сайтов.

— Вот он где! — звонкий голос, грянувший позади нас, заставил обернуться.

В холле появилась высокая женщина с мучительно брезгливым выражением на лице.

— А я его ищущу-ищущу, ищущу-ищущу...

Он виновато затараторил:

— Я, я, я... Газеты чи-чи-читаю...

И торопливо выскользнул на лестницу.

— Знали бы вы, как он меня достал! — женщина положила ладонь на грудь. — Обед давно закончился, а он все сидит, непонятно чем занимается!

Я чувствовал себя неловко, словно меня самого, как несмышленного мальчишку, прилюдно выставили за дверь.

— Не обращайтесь внимания, — обратилась ко мне смущенная провожатая, — это наш завхоз. Она единственная, кому хватает терпения работать с Максимом.

На следующий день, пробуя обслуживать читателей, я снова повстречал Максима. Пока я находился за кафедрой, он, что-то бормоча про себя, перетаскивал стулья из нашего отдела в соседний зал. На мое приветствие он не ответил.

— Максим! Максим! — звенели в разных залах библиотеки голоса. Даже если требовалось перенести с виду нетяжелую коробку, работники все равно звали Максима.

Зазвонил телефон. В трубке затараторил знакомый спотыкающийся голос:

— Я-я-я отправил вам подъемник... Подъемник забирайте.

— Какой подъемник?

Он положил трубку.

— Забавный человек, — сказал я, вернувшись в служебную комнату.

— Разве ты не заметил? — удивилась Инна. — Максим — инклюзивный.

— Какой?

— То есть умственно отсталый. Но в последнее время нас просят избегать таких слов, и мы говорим «инклюзивный».

— Он таким родился?

— Никто не знает. Просто в семь лет его мозг перестал развиваться. Максим может только что-нибудь таскать и поливать цветочки. Живет с мамой. Она его и научила всему, что он умеет. Зачем он звонил?

— Сказал про какой-то подъемник.

Инна рассмеялась.

— Опять? Вот человек... А ведь его никто не просит! Это хранение должно звонить, но их не дождешься.

Пока разгружали «подъемник» — маленький лифт, который поднимал сданные на первом этаже книги, — Максим не шел у меня из головы.

В поселке, где я родился, жил один больной человек — сын выпивающей женщины, который нигде не учился и никогда не работал. С утра до ночи бродил он по поселку, просил подаяние и что-то искал в мусорных контейнерах — тем и жил. Несмотря на его солидный возраст, детвора всегда обращалась к нему на «ты» и, встретив зимой на улице, безжалостно закидывала обледенелыми снежками. Валера рычал, угрожающе шел на детей кряжистым медвежьим силуэтом, но, отбежав на безопасное расстояние, дети снова начинали обстрел.

А Валера был в общем-то незлобивым человеком. Забыв про нападки, он приходил зимой на большую горку в центре поселка с полированным тазом — катался сам и тех же детей катал.

Прислушиваясь к его разговорам, я пытался отыскать в них свидетельства душевной болезни, мигом обнажившей все несовершенства его мозга, памяти, по которым можно было бы сказать: больной, полоумный! — и не находил. Валера общался с людьми, как и все остальные, только не требовал к себе особого обращения — и не обижался, когда над ним подшучивали поселковые мужики.

Разгадать тайну я не успел — в сорок с чем-то Валера умер. Теперь вот судьба зачем-то послала мне Максима.

— Скажи, — обратился я к Инне, — а почему вы считаете, что Максим способен только поливать цветочки и таскать коробки?

— Скоро сам все увидишь...

В обеденный перерыв я полюбил читать. Я поднимался в зал научно-технической литературы, брал с полки какой-нибудь нон-фикшен и погружался в загадки мироздания. Чтение так увлекало, что иногда я приходил и после работы.

Часто я встречал в этом зале Максима, который, склонившись над какой-нибудь книгой, по-детски шевелил губами.

За кафедрой дежурила молодая полноватая женщина, и мне всегда было забавно наблюдать за тем, как она откровенно скучает среди книг.

— Максим у нас умный, — заговорила библиотекарь, — каждый обеденный перерыв читает.

— А что читает-то?

— Ну, я не запомнила... Газеты, какие-нибудь старые книги. Не помню, как называются...

Я подошел к столу, за которым сидел Максим, и развернул оставленные им газеты. С пожелтевших — цвета темного сыра — страниц задорно улыбались счастливые рабочие, колхозницы, доярки, но на страницах уже появилось выражение «культ личности».

Подобные газеты когда-то в изобилии хранились у нас на чердаке, особого интереса я к ним не испытывал. Теперь же от страниц, где из-за качества печати слипались и выпадали буквы, а лица людей, казалось, были вымазаны сажей, исходила странная магнетическая сила.

— Кажется, он про Сквородникова что-то брал, — заговорила женщина с кафедры.

— Про кого?

— Это, если я не ошибаюсь, основатель нашей библиотеки. Первый директор.

Вечером, заинтересованный, я ввел фамилию «Сквородников» в поисковик.

С вереницы черно-белых фотографий на меня смотрело круглое, почти как у Бабеля, но как будто чем-то смущенное

лицо. Роговые очки, густые светлые волосы, зачесанные назад, и робкая, прямо-таки девичья улыбка. Какая-то обескураживающая беззащитность была в нем. Снимок 1928 года — сорок пять лет человеку, а выглядит как я. Такой же инфантил, наверное. Я тоже таким буду в сорок пять: наем щеки, обзаведусь румянцем и мечтательно-вдохновенным взглядом...

Полистал биографию. Ну такая биография, в некотором смысле типовая. Сын сельского пономаря... Родился в Красноярске, учился в семинарии. Так, 1905-й, участвовал в волнениях, понятно, исключен... Но поступил на инженерный факультет... В 1914-м был призван. Работал на железной дороге. Всем сердцем, всем телом, всем сознанием принял музыку Великой Октябрьской социалистической... хорошо... Что делал в Гражданскую — молчание.

А в 1927 году — уже краевед и библиограф. Направлен работать над «Историей земли Сибирской» — да, помню, затевался такой проект, энциклопедический, справочный, областническая версия Брокгауза — Ефрона. И самое главное — стоял у истоков нашего чудесного заведения: комплектовал фонды библиотеки, которая, разрастаясь, перемещаясь из здания в здание, наконец осела в сером хмуром особняке и стала называться библиотекой имени Розы Люксембург. Хотели приспособить и Клару Цеткин, но Клару взяла себе близлежащая трудовая школа.

Арест в 1932-м, лагерь в Карелии. Умер в 1938-м в Карелии. Все как положено.

Сам круглый, и очки круглые, ленноновские. Как же мы с тобой похожи, Яков Константиныч!

Понять бы еще, чем именно.

В тот момент мне впервые стало интересно, как живет Максим, о чем думает. Или он существует в блаженном неведении? Была ли у него любовь, или все свои пятьдесят лет

он, уже поседевший, прожил в условном детском саду, постарев и покрывшись морщинами без взрослых радостей и тревог?

Впрочем, в те дни меня интересовал не только Максим.

3

Постепенно я привыкал к новой работе. Делом это оказалось несложным.

Половину рабочего времени мы обслуживали читателей за кафедрой: выдавали книги, выполняли электронные заказы книг, помогали читателям не заблудиться в стеллажах, исполняли мелкие поручения начальника — клепали презентации, готовили проекты и делали много другой офисной работы, напрямую не связанной с библиотекой.

Отработав положенные часы за кафедрой, я отправлялся работать с фондом — «проверять алфавит» и расставлять на полки сданные книги.

Как и многие читатели, раньше я не понимал, как удается библиотекарю так быстро находить среди полок и стеллажей любые книги. Не зная принципа размещения, я мог, походив с книгой по залу, поставить ее в случайное место.

Теперь я узнал, что тома на полках стояли в специальном порядке, который назывался библиотечно-библиографическим кодом. Я и раньше замечал на корешках библиотечных книг эти приклеенные бумажные квадратики с загадочными цифрами, но не понимал их смысла.

Оказалось, в этих буквах и цифрах была зашифрована фамилия автора, раздел, к которому относилась книга, и часть света, в которой она была выпущена.

Например, цифрой 84 на корешке книги кодировалась художественная литература. 83 — литературоведение, 85 — искусство. А взятая в скобки цифра 2 на корешке книги означала,

что выпущена она в России. Все, что было номиналом выше, относилось к зарубежной литературе. Заглавная буква перед этим кодом зашифровывала фамилию автора, а цифра после нее — место на стеллаже в алфавитном порядке.

Благодаря этому простому шифру (мне нравилось называть его «алфавитная ДНК») обезличенная масса книг превращалась в стройную понятную систему, из дикого запутанного леса выростал расчищенный парк.

Первое время я, конечно, путался в цифрах, ставил книжки не туда, но довольно скоро стал ориентироваться. И вскоре сам уже мог находить любую книгу по запросу читателя.

Моей любимой работой была расстановка книг. Часами — книга за книгой — выстраивая свою ДНК, я думал, что восстанавливаю гармонию и порядок не только на стеллажах, но и в себе, и в запутанном мире вокруг меня.

Я настолько увлеклся этой гипнотизирующей работой, что забывал обо всем на свете. А еще я придумал забавную традицию — оказавшись в фонде, я открывал какую-нибудь книгу наугад и читал первое предложение.

И книга обязательно что-нибудь рассказывала.

Вот, сидя с богачами в самолете, делал свой нелегкий выбор бродяга Ричардс из «Бегущего человека».

Бранился Рэндел Макмерфи, удивляясь, что еще никто не послал авторитарную мисс Дулиттл к черту.

Готовился шагнуть за борт разочаровавшийся в своих буржуазных идеалах писатель Мартин Иден.

А несчастный Эджернон, отчаянно пытаюсь сохранить свой убывающий ум, заучивал страницы книг.

«К чему все менять? Разве в этом человек?» — размышлял на диване Обломов.

Иногда казалось, что книги начинали разговаривать не только со мной, но и между собой, почти всегда в унисон моему настроению и мыслям.

Кроме меня в отделе художественной литературы работали еще четыре человека.

Инна — строгая девушка лет тридцати, которая служила в библиотеке уже восьмой год. Именно она первое время обучала меня всем премудростям профессии.

Инна жила в частном доме вместе с родителями и часто жаловалась, что не может позволить себе сходить с друзьями в кафе. Если кто-либо из читателей нарушал и без того зыбкие библиотечные правила, Инна со странной мстительностью в голосе рассказывала читателю о последствиях для библиотекаря. Лишение премии... Дисциплинарное взыскание... Выговор с занесением в трудовую... Читатель бледнел и чесался, как застигнутый на месте злоумышленник. Я не понимал: почему бы не пойти навстречу и не выдать книжку повторно? Ведь читатель не просит сделать ничего особенного.

Вскоре после меня в наш отдел из другой библиотеки перешел шустрый подвижный человек лет сорока, которого я сразу же прозвал Марксистом. Человеческая жизнь, рассуждал Марксист, — это работа. Ежедневная рутинная работа никому не известных людей. И это есть фундамент, на котором держится мир. На мой вопрос, почему он ушел с прежней работы, Марксист отвечал, что его библиотека в последнее время все больше напоминала развлекательный центр, а не книжный храм.

Еще в отделе работала Татьяна Владимировна, женщина шестидесяти с чем-то лет, которая готовилась уходить на пенсию, и начальник отдела Татьяна Ивановна, которая проработала в библиотеке больше сорока лет. Она помнила времена, когда библиотека находилась в другом здании, а за книгами выстраивались очереди на лестнице.

— Сейчас-то несколько человек в очереди — и я уже нервничаю, а тут... Как же вы справлялись, — интересовался я у начальника.

— То ли еще было, — махала рукой Татьяна Ивановна, — очереди, бывало, и до лестницы выстраивались... И мы всех успевали обслужить!

— Как?!

— Работали двенадцать человек — вот и справлялись.

— И чем же здесь занималось столько людей?

— Ну как чем... Если сейчас один человек полфонда составляет, то раньше на одного сотрудника было три-четыре стеллажа. И за кафедрой дежурили по два человека. А если кто-то уходил на больничный, то его и не заметно было.

— А куда делись остальные семь?

Татьяна Ивановна, усмехнувшись, ничего не ответила.

Когда я проработал год или два, в отдел пришел Антон — нервный, чувствительный человек с неоконченной консерваторией. Все три года, что он работал в библиотеке, он сожалел об упущенной музыкальной карьере. Впрочем, свой вокальный талант он охотно демонстрировал на праздниках и корпоративах, чем заслужил почетное звание первого голоса библиотеки.

Мы с улыбкой переглядывались с Инной, когда Антон заводил очередную песню о том, как много «лишней информации» ему приходится держать в голове из-за работы в библиотеке.

Антон втихую писал для сотрудников астрологические прогнозы, из-за чего они много и часто спорили с Марксистом.

— Женя, ну как ты не можешь понять, что такое невозможно выдумать! — заводился Антон. — Астрологи говорят о тебе такие вещи, что ты только диву даешься — откуда он это знает? Это ре-аль-но!

— У каждой реальной науки, — парировал Марксист, — обязательно есть объект и предмет. Контуры зверей на небе — это целиком и полностью выдуманные человеком вещи, такие же, как случайные узоры в листьях деревьев и т. д. Из чего вывод очень простой...

— Да какая разница, есть объект или нет? Это ра-бо-та-ет!

— Не поверишь, я тоже могу сейчас написать тебе прогноз! И он обязательно сработает, — не унимался Марксист.

Такие споры могли продолжаться долго.

Несмотря на разногласия между коллегами, каждое утро по дороге на работу я чувствовал в себе тепло необъяснимой радости. В такие минуты казалось, что где-то в мире существует моя личная и недоступная другим зачетка, куда записываются все мои дела и старания, чтобы однажды вылиться в нечто прекрасное, заслуженное этими праведными днями.

4

За пределами библиотеки моя жизнь текла по-прежнему. Я жил с мамой в двухкомнатной квартире, которую она получила еще в советские годы. Жили мы не очень дружно — матери все казалось, что я где-то недоработал, где-то недоглядел, а где-то не проявил решимости и упорства. И именно в этом причина нашей с ней материальной неустроенности.

— Мы с отцом, когда окончили университет, разве так жили? Стоило, конечно, учиться, чтобы теперь копейки считать.

— Сейчас другие времена, мама.

— Ну не знаю. Вовка вон закончил — теперь живет как белый человек. Да еще и мать кормит.

Когда надо было доказать свою правоту и необходимость высшего образования, мама всегда приводила мне в пример друга Вовку, который уехал учиться в Петербург и теперь был востребованным IT-специалистом. Это уже начинало злить.

— Тогда тоже надо было меня в программисты отдавать, — отвечал я, сдерживая раздражение, — ну или в рабочие.

— Ага, надо было тебя в дворники отдать, чтобы ты там плевки за всеми подбирал. А заодно и ума набрался!

Когда мы жили на Дальнем Востоке, мама работала начальником технологической лаборатории на рыбзаводе. Работа была хлопотной: рыбзавод часто навещала неподкупная советская инспекция — приходилось отстаивать недостачу каждого грамма розового золота. Мама в хищениях не была замешана, но все равно волновалась: причиной посадки могла стать банальная и бескорыстная ошибка в расчетах. Свои работники тоже не отставали: обнаружив после зарплаты недостачу копеечки, отправлялись в контору шумно выяснять отношения. Мама встречала их спокойно, с лицом, полным осознания своей искренней правоты, — сколько сделано, за столько и заплачено. Кричали-кричали горе-работники да и уходили — против истины не попрешь.

Оставив на рыбзаводе лучшие годы и, как она часто повторяла, здоровье, перед самым переездом на материк мама ушла на пенсию. Причина переезда банальная: «Сережке надо где-то учиться».

Обустраиваясь на новом месте, я обзаводился новыми связями и друзьями, а мама все сидела одна. Человек кипучей энергии, она сильно тяготилась своим новым положением и усиленно пыталась найти работу. Пробовала закрепиться в сетевом маркетинге, устраивалась охранником и даже — на мыльный завод, где продержалась ровно одну смену.

К концу первого дня усталость была такой, что уже не ощущалась. Только руки, словно работающие сами по себе механизмы, каждую секунду хватали пачку из прижатых друг к другу мыльных блистеров и сбрасывали в стоящие рядом коробки. А конвейер безжалостно набирал ход. Если продукцию не успевали убирать, мыло скапливалось на поддоне, а затем ссыпалось на пол. Тогда приходил недовольный работник, выравнивал ленту и снова давал полный ход, не считаясь с возможностями новичков.

На следующий день пальцы онемели настолько, что мама ничего не могла держать в руках. Больше на завод не пошла.

Отчаявшись найти занятие или хотя бы подработку, мама искала утешение в кошках и другом зверье, которое мы подбирали по всей округе.

Однажды, вернувшись домой с работы, я обнаружил в квартире птенца воробья — невесомый трепещущий комочек перьев, — которого мама подобрала на улице. В первый вечер воробей почти не проявлял признаков жизни, но, проспав ночь в тепле и сытости, разбудил нас утром требовательным чириканьем.

Все эти дни, пока я был на работе, его голосок заполнял дом, наполняя мамино сердце радостью и давая ей хоть какую-то компанию.

Возвращаясь домой, я наблюдал, как у птичьей клетки толпились удивленные кошки. Воробей простодушно поглядывал на них смородиновым глазком, словно не понимая, какую опасность они несут для него. Мама кормила приемыша каждые несколько часов — словно младенца — сырым, разбавленным в воде желтком. Сначала воробей сопротивлялся, но вскоре привык и охотно ел из шприца.

Но мамина радость не длилась долго — однажды утром воробей не зачирикал. Мама сняла с клетки занавеску и увидела лежащее на спине мертвое тельце. Тонкие лапки были сжаты и напоминали два маленьких желтых кулачка.

Маленький друг был слезно похоронен за ближайшим гаражом. Закапывая крохотное тельце, я испытывал скорее не грусть, а угрызения совести. Как мне казалось, в этих материнских слезах по комочку перьев словно бы выражалась моя несостоятельность как сына, моя неспособность сделать жизнь матери полнее и лучше.

За годы жизни в городе мы привыкли к жесткой экономии. Денег теперь было больше, чем в газете, но не сильно — за неделю до зарплаты, когда кончались средства, мы с мамой лезли в шкафчик под окном, доставали запасы макарон, солений и круп — тем и держались.

Такая жизнь долгое время не казалась мне чем-то страшным — я мог очень мало есть, месяцами носить одну и ту же одежду, а вид дорогих, недоступных мне гаджетов в руках других людей не вызывал во мне ревности.

Единственное, что вызывало во мне какую-то странную тоску, — молодые пары, которых я встречал во время своих одиноких прогулок. Похохатывая и говоря о чем-то своем, они проходили мимо, но за эти пару секунд я успевал уловить отголоски чьей-то вселенной, в которой была совместная жизнь, были волнующие радости и заботы друг о друге. Успевал вдохнуть запах тонких духов, сигарет, вина, еды, теплого хлеба, хорошего крема для бритья, кожаного ремня, — я выдумывал эти запахи, чаще всего их не было. Я и сам ничем не пах — может быть, потому, что не производил никакого тепла в этом мире.

Лишь в такие моменты я понимал, что в моей жизни что-то не так, — у меня не было ни девушки, ни толком самостоятельной жизни. Казалось, эту жизнь отделяло от меня невидимое стекло, пробраться за которое нет решительно никакой возможности. С девушками не складывалось. Со всех сторон трубили о недостатке мужчин в стране, но где он, этот недостаток?

5

Катя пришла на собеседование — и вскоре уже дежурила в одном из залов за кафедрой. С тех пор мы несколько раз виделись в коридорах библиотеки и всякий раз обменивались парой незначительных, но приятных фраз. Наконец, я повстречал ее в нашем отделе: девушка не могла разобраться с приложением, позволявшим читать электронные книги.

Не совсем понимая, что это, я принялся помогать. Нет, она представляла, как работать с приложением. Она знала это, может быть, лучше меня. Но на следующий вечер я получил

сообщение с неизвестного номера: «У меня так мало друзей в этом городе! Пошли гулять?»

Я ощутил давно забытое волнение — похоже, меня добивались опытной женской рукой.

С этого момента речи мои стали запутанными и сбивчивыми.

А на юбилее библиотеки мы сблизились окончательно.

По крупным государственным праздникам в актовом зале на первом этаже проводились гуляния и дискотеки. Сначала официальные поздравления, а потом танцы, вино и чай.

В центре зала, вызывая улыбки, как всегда, вразрез с музыкой двигался Максим. Иногда подходил к сидящим в рядах женщинам и что-то бормотал. Получив отказ, он подходил к следующей и так до конца ряда. Не добившись своей цели, возвращался и продолжал танцевать, вяло переваливаясь с ноги на ногу и двигая руками, как будто хлопая в ладоши.

Большую часть танцев я обычно просиживал на скамейке, и, лишь когда в зале оставалась одна молодежь, я мог, наконец, расслабиться. В ярких неоновых лучах я разглядел Катю. Одета в неброское платье, высокая и стройная, она, оглядываясь по сторонам, прошла в зал и села в зрительские ряды.

Пора было решаться на какие-то действия — я очень редко приглашал кого-либо на танец, — но не успел я и моргнуть, как к девушке подскочил Максим и что-то затараторил.

Засмеявшись, она замотала головой.

А тут уже подошел я.

— Привет, Максим! Спасибо, что охранял даму.

Девушка снова засмеялась, а Максим растерянно посмотрел на меня.

В его глазах не было ни злобы, ни обиды, ни отчуждения.

— А пошли с нами, — пригласительно кивнул я Максиму, — посидим, пообщаемся...

Но рабочий, сказав что-то невнятное, отошел.

Она потянула меня в самую гущу танцующих. Осмелев от одержанной перед самим собой победы, я близко прижал ее к себе. Стала вдруг неважна ни реакция сотрудников, ни ее возможный отказ...

— Пошли ко мне?

— А я ждала — позовешь или нет, — улыбнулась она.

— Только знаешь, я там не один, — спохватился я.

— Не страшно...

И что-то решительное и одновременно нежное было в ее голосе, и это взволновало меня.

Мама отреагировала на гостью сдержанно: чай, бутерброды. Вела себя прохладно и вежливо.

Закрывшись в моей комнате, неуклюже ворочались на скрипучем, покрытом кошачьей шерстью диване.

— Ну ты чего, там же услышат!

— Вам где стелить? — обратилась мама, когда я показался в коридоре.

— В моей комнате.

— Сережа! Это что еще за новости? С незнакомой женщиной...

Как сыну она не прощала мне только одного — желания разделить жизнь с другой женщиной. Если я задерживался с друзьями — мать начинала названивать, а когда я возвращался, долго и подозрительно выспрашивала, где и с кем... Я нервничал, злился, но в итоге покорялся.

Вот и сейчас пришлось оставить Катю в своей комнате, а самому — ночевать в материнской. Засыпая в кресле-кровати недалеко от мамы, долго слушал, как за стеной ворочается девушка.

Утром, не рассчитывая на повторное свидание, проводил ее на остановку.

— Давай в следующий раз в другом месте? — улыбнулась она перед тем, как запрыгнуть в автобус. И сердце мое радостно вздрогнуло.

Мы встречались несколько месяцев. Пересекались в библиотечных коридорах, остерегаясь коллег, гуляли после работы по улице, сидели в кафе. Иногда она забегала в мой отдел и деловито пробегала мимо, делая вид, что пришла сюда за чем-то другим. За книжными стеллажами мы самозабвенно целовались.

Встречаться наедине нам было негде — она ютилась в квартире у родственников. Родители ее жили в дальнем райцентре. Но если было нужно, мы снимали на ночь дешевую квартиру.

— У меня, знаешь ли, были всякие, — откровенничала Катя, когда мы отходили после любовной игры. — Обеспеченные, известные. Многие звали замуж...

— А ты, конечно, не соглашалась...

— Они все какие-то скучные.

— Тогда почему ты со мной?

— А вот, — загадочно говорила девушка, — тебе все расскажи.

К весне я предложил Кате снимать квартиру.

На тот момент наши прогулки и разовые встречи стали казаться повторением пройденного — как будто изо дня в день мы смотрели приятные, но похожие друг на друга фильмы. Неприкаянные, мы продолжали бродить по улицам и дворам. Такая жизнь мне даже нравилась — можно было ничего не менять, но Катя все чаще заводила разговор о том, что с удовольствием стала бы жить самостоятельно.

Я не раз задумывался над ее словами. Значит, на работу придется добираться на автобусе, а это время и деньги... При слове «переезд» в голове вставал миллион вопросов: хватит ли средств? Хватит ли времени? Да и мама уже пожилой человек. Представляя ее лицо, я чувствовал, как влажнеют глаза.

С другой стороны, что ждет меня, останься я с мамой? Я видел таких мужчин в библиотеке. Во всем их облике — в выражении лица, в одежде — проступала отталкивающая печать одиночества. Блуждая меж стеллажами, они неуклюже

заводили интеллектуальные разговоры и всегда — с нестарыми ухоженными женщинами. Но делали это так прямолинейно, что те, поговорив для вежливости пару минут, отходили в сторону.

Пройдет еще лет семь-десять, и я превращусь в одного из этих несвежих бобылей, рыскающих по библиотеке в поисках пары.

— Давай попробуем?

6

— Шляешься непонятно где, — говорила мама, — уж оставался бы там.

— Скоро так и сделаю.

— Ничего ты не сделаешь. Все это пустой звук. Ничего. Никогда. Ты не сделаешь.

Я научился не реагировать. Намывая посуду и думая, что я не слышу, мама частенько бормотала под аккомпанемент трескучего крана: «Господи, когда это закончится? Когда я уже смогу жить спокойно...»

Катя тем временем нашла неплохую квартиру в сорока минутах от центра города и уже договорилась с арендодателем. И теперь ждала, когда я съеду.

С момента обещания прошло уже два месяца, а я все не решился сказать матери.

И однажды — решился.

Я ожидал бури и грома, долгих, навязчивых уговоров, но мама только растерянно спросила:

— Когда? Завтра?

— Сегодня, мам... Сейчас!

— Может, завтра? Или хотя бы до конца недельки?

Приступ жалости на мгновение ослабил мои руки и всколыхнул все те чувства, которые я пережил накануне, готовясь к этим важным словам, но все-таки взял себя в руки:

— Сегодня.

Прозвучало как упавший на пол молоток.

— Ну подожди, хоть еды тебе соберу в дорогу...

Хватаясь то за одно, то за другое, я растерянно бродил по комнате. Каждая вещь, которая попадалась на глаза, просила остаться.

Мама заглянула в комнату и, как будто желая помочь, стала возиться в шкафу, а я стоял рядом.

Вдруг стал заметен ее возраст: старческая суетливость, обмелевшая комплекция.

Прошедшие годы понеслись перед глазами.

Как под хмурым утренним небом она вела меня за руку в большое и незнакомое здание — на первый в жизни урок, — а над крышами домов, как драгоценный камушек, скакала странная звезда. И часы под ярким оранжево-желтым светом лампы, проведенные за разучиванием школьных стихов и теорем. И маленькая большеголовая тень на солнечном асфальте, которая крепко держит за руку чью-то большую.

Как лет двадцать назад зашли в пустую новосибирскую квартиру, а затем, несколько дней спустя, уже разгребали контейнер. Кабинеты, пороги, бумажки, дающие право на жизнь. Новая школа... Университет, работа. Соломинки, за которые мы хватались в надежде обрести в городе новое, лучшее существование.

И везде — мама, мама, мама...

Но наша с мамой одиссея кончалась.

Старенький мамин кораблик оставался у острова, в неглубокой лагуне, а мой — раскрыв, как мне думалось, высокие белые паруса — плыл дальше.

И как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь, но в эту прежнюю — согретую маминой заботой и теплом пятерых кошек — мне уже не будет возврата.

Я подошел к маме — и тут наши взгляды встретились.

Впервые за много лет я открыто смотрел на нее. Думая о матери, я всегда представлял ту нелюбимую мамину фотографию, где ей двадцать восемь и я еще не родился, а теперь как будто впервые увидел мамино лицо. Сквозь грим старости проглядывала та, двадцативосьмилетняя.

Я увидел отросшую седину в крашенных рыжих волосах, да и саму как бы ужавшуюся мамину фигурку. Мамины глаза, почти не изменившиеся с тех пор, все еще зеленые и красивые, смотрели без того, что я им приписывал в последнее время, — без осуждения или злобы, а с тем непередаваемо благородным выражением любви и доверия.

Я понял, что в последние годы практически не видел мамы. Живя вместе, рядом, мы с мамой толком и не видели друг друга. И теперь эти двадцать секунд прямого открытого взгляда рассказали нам друг о друге больше, чем все эти годы.

И, тоже впервые за долгие годы, я обнял ее — хрупкую, неспособную жить без меня, переполненную любовью. Обнял и коснулся губами, еще раз и еще раз, пока не почувствовал соленый вкус...

...В съемной квартире все казалось неудобным, вокзальным, казенным, лишенным живого тепла. Здесь было слишком много чужого прошлого — неясного, но какого-то нерадостного, очевидно, знавшего нужду и раздор, и я все время спотыкался об углы, внезапно выскакивающие из ниоткуда, — комоды, шкафы. Даже стулья вдруг ощеривались против меня.

Блуждая по комнатам, заполненным чужой мебелью, находя на обоях пятна и другие следы жившей здесь до нас семьи, я не верил, что мы протянем хотя бы год и что я когда-то смогу называть эту квартиру своим домом.

Каждая мелочь, которой я не касался раньше, вызывала миллион вопросов: как складывать вещи так, чтобы они не мялись? Катя тоже волновалась — ни я, ни она раньше не жили самостоятельно.

— Никогда такого не готовила, — говорила она, просматривая кулинарную книгу.

— А я... никогда не точил ножи.

Мои первые пельмени она ела с придыханием:

— Ты прирожденный кулинар!

Привыкший видеть рядом маму, я, обнаруживая возле себя молодую женщину с медленным голубоватым взглядом, заморгал от удовольствия.

Иногда я находил в ней прохладную красавицу, а иногда — капризного пухлого ребенка. У Кати были выразительные губы, по которым, как по глазам, легко считывался ее настрой. «Кузовок», — говорил я, когда видел, что Катя дуется. Катя дулась так, что уголки ее губ в этот момент чуть вздрагивали в улыбке.

Квартира постепенно наполнялась привычными нам вещами, новыми запахами и красками, становилась теснее, теплее, ярче. Катя привозила книги, а я — в алфавитном порядке — заполнял ими шкаф. Некоторые книги она откладывала в отдельную стопку.

— Брала почитать, — поясняла она, а затем куда-то увозила.

Но однажды, вернувшись со всей стопкой обратно, вдруг призналась:

— Это книги бывшего...

— Бывшего?!

— Да, и я отвожу их ему обратно.

И Катя рассказала.

Ее бывший — нервный, впечатлительный, тонко организованный творческий человек. Когда они только познакомились, он писал прекрасные стихи, а потом, с Катей, уже не писал. Ему прежде снились роскошные сны, а при ней не снились. Он слышал голос ветра и музыку сфер — а потом перестал, потому что связался с мещанкой и плебейкой, которая вытягивала из него творческие тепловые энергии, чтобы «пожарить на них яичницу».

— Так и сказал — яичницу. Еще говорил, что я плохо на него влияю, подрезаю крылья...

— А книжки почему не взял? — тон мой становился строже.

— Взял... Но когда узнал, что... я с другим, выкинул их на площадку.

— Вот как?

— Вот как...

— И ты... не рассказала сразу?

— Ну я же не знала, как ты отреагируешь. Вдруг так же, как он?

Однажды, когда мы гуляли на улице, Катина рука, секунду назад бывшая мягкой и расслабленной, вдруг сжала мою ладонь.

Догадавшись, в чем дело, я искал глазами в толпе нервного щупленького поэта, но нам навстречу шел рослый русский парень. И по тому, как он постепенно сдвигался к нам, я все понял.

— Кто это? — спросил он ее, подойдя близко и не глядя на меня.

Мы молчали.

— Я спрашиваю, кто это?

— Ты сам не видишь, что ли?

— Ты совсем офонарела, что ли? А ну-ка быстро...

Он схватил Катю, и я вдруг ударил его, хотя еще мгновение назад не знал, что делать.

Мы закружили друг против друга в одной из тех неумелых уличных драк, которые так забавляют окружающих. Обычно такое снимают на телефон, а потом выкладывают в Сеть. Парень был выше меня и крупнее, но это почему-то ему не помогало — он, так же как и я, остерегался сблизиться. На его животе посреди белой футболки уже красовался грязный след от моей подошвы.

С его стороны было еще несколько неуклюжих порывов сделать мне больно, но я оказался чувствительнее и быстрее. Удар вышел не сильный, но удачный — из носа вскоре потекла кровь.

— Гад, вот гад, — приговаривал он, отходя в сторону и пытаясь унять кровь. — Мразь, убийца. Оба мрази...

Глядя, как, утирая нос, он мечется среди толпы, я даже почувствовал к нему нечто вроде сочувствия. Как выясняется, грозный внешний вид — не гарантия опасности.

Когда он отошел, Катя подбежала ко мне и стала торопливо целовать.

— Ну, что скажешь? — я уперся руками в колени и дышал.

— Молодчинка мой...

— Подожди, — отстранился я, — а что все это значит?

— Ну, мы встречались. И он посчитал, что я его предала.

— Но вы же уже не были вместе? Или... были?

Катя молчала.

— То есть вы не расставались?

— Почему, мы расставались.

— А он об этом знал?

— Нет.

Я сел на бордюр и схватился за голову. Катя виновато присела рядом.

— Ну не сердись на меня.

...За несколько месяцев, что мы не жили вместе, мама как будто пожухла, как будто постарела лет на пять. В наших отношениях появилась неприятная сдержанность, и теперь, во время пауз в разговоре, я чувствовал неловкость, как будто мама уже не была тем самым близким человеком.

Оглядывая меня, мама как бы вскользь замечала:

— Что-то ты похудел. Совсем тебя не кормят, что ли?

— Кормят, — сглатывал я недовольство.

— Да и вещи какие-то мятые.

А состряпав что-нибудь вкусное, спрашивала:

— Поди давно уж такого не ел?

— Почему, вчера ел.

— Но не такие вкусные... скажи же?

Замеров, мама ждала оценки, но я, чувствуя раздражение, сухо отвечал:

— Нормальные...

А у мамы, как по заказу, к моему приходу оказывался сварен суп, испечены пироги, а комнаты сияли свежестью и чистотой.

— Садись, супу-то хоть поешь. А то поди все всухомятку.

Во всем этом каждый раз как бы присутствовали некие несказанные слова, неприятный для меня подтекст.

Подойдя к раковине, я принимался мыть посуду, но, спохватившись, мама подбегала и забирала у меня тарелки из рук.

— Нет, нет, я сама.

В эти дни я был как бы меж двух огней — все, что нравилось Кате, казалось маме неправильным, и наоборот. Каждая желала, чтобы я жил в соответствии с ее представлениями. Каждая считала, что имеет право на мою жизнь.

— Надо что-то менять в жизни, — все чаще говорила мама, — для чего я сейчас живу? Ради кошек?

Я, в свою очередь, как-то пытался скрасить ее дни — водил в кафе, в кино. В кафе она стеснялась и выбирала самое дешевое: сэндвич, чай, а в кино иногда засыпала и начинала похрапывать — но все равно была счастлива. Во время сеанса она держала меня за руку и сжимала ее, как маленькая, когда на экране что-то грохотало и взрывалось.

Засидевшись у мамы допоздна, я возвращался к Кате.

— Ну что так долго?

— С мамой в кафе ходил.

— Вот-вот, — отвечала Катя, — а меня в кафе почти не водишь...

Однажды я застал маму за тетрадкой. Время от времени задумчиво поглядывая в потолок, мама что-то записывала. Я давно рекомендовал ей заняться литературным творчеством — читал еще в молодости сделанные записки, в них что-то было:

интонация, ритм... И теперь обрадовался, увидев, что она наконец прислушалась к моему совету.

— Что пишешь?

— Биографию.

— А почитай!

Она покраснела, стыдливо улыбалась.

— Я стесняюсь!

— Ну мам...

Мама раскрывала тетрадку, а я, примостившись у ее колен с чаем и пирогами, слушал.

Мама раскрыла первую страницу, и, послушав первые слова, я догадался: они о временах, когда она, шестилетняя девчушка, приходила на работу к матери в маралосовхоз.

«В парке, между огромных верховых корней лиственницы, сижу и леплю из глины кувшинчики, тарелочки и прочую посуду. Вокруг в тени лежат маралы и лениво жуют жвачку маленькими ротиками.

Я для них такой же член их маральего сообщества, как и они сами. Мы с маралами друг друга не боимся».

Мама останавливалась и вопросительно смотрела на меня.

— Читай, мама, читай...

Мама долго читала о маралосовхозе, а затем — о своей работе инспектора в Верхнеобьрыбводе.

А мы с кошками, разместившись вокруг мамы, внимательно слушали.

7

Вернувшись, я, словно хорошо знакомый фильм, видел недовольную Катю. За ее спиной шипел ноутбук с застывшим на экране мгновением фильма.

Не говоря ни слова возмущения, я сидел рядом, и мы смотрели фильм. В такие минуты, несмотря на ссоры и разногласия,

мне казалось, что наш скромный мирок нерушим, а мы — части чего-то целого, неделимого.

Но копились трещины.

Незаметные, маленькие, они, расплзаясь по потолку и встречаясь друг с другом, постепенно сливались в более толстые, змеистые, а затем — в готовые обрушиться островки.

Разглядывая их на потолке нашей старой советской ванной, я все собирался их замазать, но, занятые сотней мелких дел, руки все не доходили.

Мы жили вместе уже больше года, а предложения я не делал.

Мне казалось, что я делаю достаточно, чтобы Катя чувствовала мою любовь. Но она становилась все более раздражительной.

Несколько дней мы могли жить в любви и мире, но потом какая-нибудь мелочь приводила к ссорам, и, сидя каждый в своей комнате, в одну страшную минуту я понимал (оба понимали): долго это не продолжится и мы, вместо того чтобы решить все сейчас, лишь откладываем этот момент.

Однажды, когда мы шли в гости, Катя грубо, унижительно прикрикнула на меня. Я не снял с карточки деньги, и теперь приходилось стоять в очереди к банкомату.

Неловко склонившись к экрану, я, стараясь не задерживать людей, торопливо набирал цифры ПИН-кода, но ошибался, и Катя вдруг совершенно по-хабальски повысила голос.

— Ёпт, ты че, совсем безрукий? Ничего не можешь. Ну и не начинал бы!

Я обернулся — люди бросали на меня сочувствующие взгляды.

Меня захлестнула обида — я плохо видел, мне было тяжело, но вместо того, чтобы помочь, она при всех крикнула на меня, поставив в еще более неловкое положение.

Накануне я купил ей дорогой подарок — швейную машинку за десять тысяч рублей. Катя давно говорила мне, что хочет

вышивать, и я наконец решился. Больше половины зарплаты — она знала, каких трудов мне это стоило.

Я сердито зашагал вперед. Мы сели в маршрутку — Катя сидела позади, и всю дорогу я чувствовал сквозь сиденье ее колени; временами они вдавливались в спинку кресла, словно желая нажать до меня. Как будто и это был способ общения.

Всю дорогу я мучительно искал в себе силы преодолеть обиду. Вспоминал, как однажды летом мне стало плохо в автобусе, мы выскочили на остановке, и я побрел по песчаному обрыву вдоль берега в поисках места, где мог бы справить свои постыдные потребности. Вспоминал, как увидел заплаканную Катю, которая в поисках меня брела вдоль дороги с тяжелой сумкой в руках.

Мы подъехали к своей остановке, и она тронула меня за плечо, давая понять, что она больше не сердится на меня.

— Я поеду обратно, — глухо сказал я на улице.

— Почему? — в ее тоне прозвучал испуг.

Обычно этот тон безотказно действовал, но теперь...

— Не хочу.

— Но нас же ждут!

— Мне все равно, — сказал я и почувствовал, как самому стало больно от этих слов, — я не хочу сейчас ничего праздновать и никому не смогу улыбаться.

Не дожидаясь ее ответа, я торопливо пошел на остановку и только затем, дойдя до нее, оглянулся и увидел, как Катя грустно побрела к пропускному пункту — очевидно, некоторое время она смотрела мне вслед, а затем пошла.

Неужели я вот так вот брошу ее и уйду? Уйду, поставив ее в неловкое положение?

Я шагнул в салон маршрутки — той самой, на которой приехал. Ядовитая радость в душе не длилась долго — едва маршрутка отъехала от остановки, ее сменило раскаяние. Еще

минуту назад все еще можно было поправить — вечер был бы спасен, но теперь?

Мы помирились, но после этого случая наши отношения никогда не вернулись в прежнее русло. Катя перестала убираться, готовить и все чаще сидела за ноутбуком. Вернувшись с работы, я гремел посудой на кухне, чем-то перекусывал и, не говоря ни слова возмущения, садился рядом.

Летом мы не поехали в отпуск.

Катя очень хотела в Крым. Побывав в нем впервые пять лет назад, Катя влюбилась в лазурное, почти тропическое море, в желтые холмы, в кипарисы... Там она собиралась начать что-то новое — она говорила о Крыме с волнением, как о какой-то важной вехе, после которой все отстроится, прояснится и начнется подлинная, яркая и радостная жизнь, до сих пор почему-то не начавшаяся.

И там же неплохо было бы сделать предложение, решил я.

Я нашел подработку. Набрал себе статей: если писать по одной в день, вполне можно было собрать на Крым. Но за два месяца до отпуска стало понятно — мы никуда не поедем: к статьям я даже не притронулся.

По вечерам она сидела на диване и смотрела в пустоту. В такие моменты мне хотелось помочь ей, чем-то заполнить эти мучительные минуты. Она рассеянно гладила мое плечо, а сама смотрела куда-то вперед.

Однажды в выходной, когда мы возвращались из магазина, из подъезда вышел незнакомый пожилой мужчина и, подойдя к нам, вдруг по-хозяйски обнял Катю за плечи.

Катя растерянно оглянулась на меня, но я — руки были заняты сумками — не сразу двинулся на пенсионера.

— О, так он тебя мне отдает, — сказал мужик. — Неправильно это, неправильно...

— А вы хотите, чтобы я заступился? — я твердо посмотрел на него. — Так я заступлюсь.

Он усмехнулся и убрал руку с Катиного плеча. Только сейчас я заметил, что вместо правого глаза на лице у него темнело небольшое углубление, да и вся правая часть лица была неровной, мятой, словно сшитой из поврежденных лоскутов плоти.

И усмехнулся не здоровый глаз, а именно эта пустая ямка.

— Почему ты ему позволил? — спросила Катя, когда мы отошли.

— А что я должен был? Сразу в морду? А потом в тюрьму за избиение инвалида?

Катя промолчала.

Как-то вечером, вскоре после того случая, я приехал домой после работы и увидел, что Кати нет. Мои портреты, написанные знакомым художником и висевшие раньше в центре комнаты, теперь лежали на диване лицом вниз. Свои портреты она забрала.

Зашел в ванную — и увидел, что штукатурка наконец осыпалась.

Незакрытый ноутбук, тарелка с недоеденной лапшой, утопающей в темно-коричневой соевой жиже, скрипучие под ногами крошки овсяного печенья и аккуратно сложенные домашние штаны с пляшущими домашними пингвинчиками...

Я целовал, целовал светлые брюшки каждого пингвиненка...

Катя пришла на следующий день.

«Кузовков», к которым я привык и которые обозначали бы возможность примирения, не было. Вместо этого я видел в лице Кати какую-то другую обиду — холодную, отстраненную, мстительную, сквозь которую было не пробиться.

— Где ты была?

— Тебе не пофиг?

— Нет, раз спрашиваю.

— Зато мне вот совершенно пофиг, — прошла, задев меня плечом, в комнату. — Уйди, я переоденусь.

Каждая ее фраза, каждое движение, каждая минута воздвигали между нами новую холодную стену.

Я продолжал стоять в коридоре, прислушиваясь к капели из неисправного крана. Розетка в коридоре, отслоившись от стены, показывала мне свои сине-белые кишки, а лампочка так и висела без люстры. Весь наш совместный год она висела без люстры. Я так и не купил люстру. Голая лампочка. Даже этого не смог.

На кухне зашумела вода. Поурчав, вскипел чайник. Катя вернулась в прихожую с чашкой кофе, сделала два глотка, поставила ее на табуретку и стала обуваться.

— Куда ты?

— Я приеду позже за вещами, — и, не попрощавшись, вышла.

В окно я увидел неизвестную мне девятку. Катя села впереди.

Когда мы еще только начинали встречаться, Катя, характеризуя своих бывших, обычно говорила «очередной ублюдок».

Я, как очередной ублюдок, мог только смотреть ей вслед.

Совсем как тот, первый, который год назад так же смотрел в окно и провожал ее взглядом, когда, оставив книги, она вышла ко мне.

Быть может, и тот, в машину к которому она сейчас садилась, через какое-то время тоже займет свое место в этой галерее.

Только я об этом уже ничего не узнаю. Мне уже не нужно ничего об этом знать.

Потому что я наконец встаю на стремянку перед шкафом, вытягиваюсь и с великим чувством освобождения, в предвосхищении неслыханного счастья достаю папку, которую прятал на верху шкафа.

Я задвинул ее впритык к стене, верил, что Катя не будет протирать пыль, — и не ошибся: не протирала, не обнаружила.

Я сажусь на диван и раскладываю примерно три десятка листов.

Я почти счастлив.

Это просто ксерокопии не очень хорошего качества. Лет десять назад в библиотеке была выставка, посвященная 130-летию

со дня рождения Сквородникова, нашего отца-основателя, просветителя, человека высоких нравственных... Судя по фотографиям в интернете, мелкая датская (к дате) выставка, два стенда плюс одна витрина, и вот в мелкой витринке-то и лежали — о чудо — ксерокопии разных бумаг, они и назывались юбилейной экспозицией. Потом, помню, в городских теленовостях дали секунд двадцать на директоршу в красном платье, которая деревянным голосом говорила про воистину неосценимый вклад... подлинный патриот Сибири... человек с горячим сердцем...

Никому ты не нужен, Сквородников, кроме полоумного грузчика — да меня, человека без свойств.

Но вместе мы, согласись, неплохая компания.

8

На самом деле все это мучительно неинтересно: в девяностых библиотека достала некоторые протоколы допросов. Это были просто вызовы, до ареста оставалось еще пять лет. Главные документы — допросы 1932 года, после которых его отправили в УСЛОН, — так и остались ненайденными. Известно только, что его осудили за связь с белогвардейским подпольем, но в 1927 году его вызывали, по всему судя, профилактически.

Вопрос следователя: Опишите круг ваших обязанностей, ваш примерный рабочий распорядок.

Ответ: С девяти утра до десяти — совещание с отделами. После десяти полудня — прием новых поступлений, библиографическое описание фондов библиотеки. Дальше работа в доме политпросвещения над энциклопедической книгой «История земли Сибирской». Иногда случались культурные мероприятия, юбилеи. Потом я иду домой. Там продолжаю работать.

Вопрос: Как проводите свободные часы? С кем встречаетесь?

Ответ: У меня нет свободных часов. Я немного, до восьми вечера, отдыхаю, а дальше — работаю до двух ночи. А дальше питание и сон. Я никуда не хожу, ни с кем посторонним не общаюсь.

Вопрос: Объясните нахождение в фонде книги Гумилева Н. С.?

Ответ: Я не знал, что это контрреволюционная литература. Я просто не успел прочитать. Это моя недоработка, связанная с перегруженностью. Несомненно, книг Гумилева Н. С. в библиотеке быть не должно.

Вопрос: На днях у вас спрашивали книгу профессора Краснова...

Ответ: Я не выдавал ее. Я знал, что это книга сомнительная. С другой стороны, директив о ее исключении из фонда мне не поступало. Посетитель спросил сочинения Марлинского, я посоветовал Наумова, а затем он обратил внимание на сочинение Краснова.

Вопрос: И что вы сказали?

Ответ: Я сказал, что сочинение это имеет только документальный вес, интересный лишь исследователям.

Вопрос: Расскажите о характере вашего сообщения с бывшим колчаковским офицером тов. Красновым и другими.

Ответ: Он корректор нашего издания. Корректор хороший, добросовестный. Я знаю о его белогвардейском прошлом, но он говорил мне, что пересмотрел свои взгляды. Ему очень нравится ход социалистического строительства в СССР. О частной жизни его я ничего не знаю.

Вопрос: О чем вы беседовали с тов. Красновым и другими?

Ответ: Если честно, то о том, что нас всех извела нужда. Нас очень мало. И вместо того чтобы отдать все силы нашему делу, мы вынуждены отвлекаться на посторонние проработки и т. д. Больше ни о чем.

Вопрос: Известно ли вам что-нибудь о кружках, в которые мог бы входить Краснов?

Ответ: Мне ничего не известно о подобном заговоре. Нам даже подумать о таком некогда.

Вопрос: В случае подозрительных действий, высказываний со стороны знакомых вам тов. Краснова и других готовы ли вы незамедлительно сообщать об этом в ОГПУ?

Ответ: Разумеется. Но никогда не слышал среди коллег разговоров на подобные темы. Мы тщательно отбираем специалистов. Все они люди либо состоящие в партии, либо сочувствующие целям и задачам советского строя.

Вопрос: А если вы станете свидетелем подобного разговора?

Ответ: Немедленно вас извещу.

Ну и что? Все так отвечали. Ничего особенного...

Мне важно другое: у меня теперь тоже нет свободного времени. Господи, какое это великое счастье — не иметь свободного времени, торопиться с работы не к телевизору и ужину, не к лживой кукле в пингвинятах, а к приличному человеку.

Я не знаю, что из этого выйдет — роман? Статья? Брошюрка к вашему 150-летию, Яков Константиныч?

Господи, спасибо, что даешь мне дышать.

ЧАСТЬ II

**О ВЫРОЖДЕНЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ И ГОРОДЕ
СОЛНЦА ЗА УГЛОМ, А ТАКЖЕ
О ТАИНСТВЕННОМ АСКОЛЬДЕ,
СЛЕЗАХ ОТНОСИТЕЛЬНО
БОГАТЫХ И ИЗВЛЕЧЕНИИ МЁДА
ИЗ ПРОТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ**

Кончался третий год моей работы в библиотеке. В ту пору в библиотеку стали приходить молодые сотрудники. Если раньше человек младше тридцати был тут в редкость, то теперь в коридорах библиотеки замелькали молодые лица. Наверное, я, сам того не ведая, стал началом какого-то поветрия: финансовый кризис, проблемы с работой — и те, кто раньше задира л нос, зачастили в библиотеки и другую бюджетку. Прежде слово «бюджетник» произносили с сочувствием, теперь — с почтением, почти с завистью. Твердый оклад, соцгарантии, больничные, отчисления в пенсионный фонд. Господи, о чем я? Мне нет тридцати, зачем я думаю о пенсионном фонде? Но это знание как-то постыдно грело...

Правда, надолго такие перебежчики не задерживались. Приходя в отдел, в который не заходил год или полгода, я встречал там других людей и попутно выяснял, что в отделе сменилось уже несколько поколений работников, с которыми я так ни разу и не увиделся.

Желая получить чуть больше, я взялся развешивать картины по коридорам библиотеки. Работа эта не приносила радости.

Однажды, когда я развешивал в холле очередную выставку, недалеко от меня расхаживал какой-то тощий паренек. С видом требовательного искусствоведа он прогуливался вдоль картин, ни у одной не останавливаясь. Выставка была не особо интересной — местный художник в очередной раз восторгался на холсте красота ми природы: ученически строго рисовал пруды, озера, деревья. Видимо, так же показалось и незнакомцу.

— Провинция, ёпт, — вдруг обратился он ко мне. — Привезли бы какого-нибудь Никаса Сафронова — полный зал народу был бы.

— А вы считаете Сафронова хорошим художником? — отвлекся я на разговор. Я вспомнил, как один мой знакомый художник с презрением высказывался о творчестве Сафронова.

— Вполне, — весело, с вызовом ответил незнакомец, видимо, предчувствуя спор. — А скажите, что в нем не так?

— Перерисовывать чужие картины — много таланта не нужно.

— Ну правильно! Деконструкция, постмодернизм — чай, не в двадцатом веке живем. Да это еще и посмотреть нужно, кто из художников «свое» рисовал. Ведь каждый мастер опирался на предыдущих. Или брал идеи из общественного воздуха, из атмосферы времени, — он посмотрел на потолок, — так Климт ловил флюиды цайтгайста, создавая на них свой Сецессион. Так Шиле выразил болезненность, тлетворность, вырожденческую сущность венского модерна, который, — он запнулся, коротко задумался, — который, в общем, да, говно. Хотя и красивый.

Он звучал очень забавно, заемно, как будто там, наверху, у него был какой-то невидимый мне суфлер.

— Опирается — не значит копировать, — важно сказал я. — Каждый, опираясь на традицию, привносит в тему что-то свое... это как электродвигатель, который был бы невозможен без открытия электромагнитного поля, и так далее.

Незнакомец улыбнулся.

— А ты кем здесь работаешь? — перешел он на «ты».

— Библиотекарем!

— Вот те на! А почему ты картины вешаешь тогда?

— Ну... за доплату!

— А я еще думаю — крутая библиотека! Здесь и разнорабочие за деконструкцию шарят.

— Нет, я не разнорабочий, — с неудовольствием ответил я.

Он мне не понравился. В его поведении было одновременно что-то вызывающе простое, но и манерное, как у большинства

интеллектуальных модников, разговоры которых я часто слышал в библиотеке. Складывалось впечатление, что они собирались не для того, чтобы обсудить какие-то интересные проблемы, а просто чтобы пощеголять в разговоре умными словами и терминами, кичливыми и бесполезными, словно кашне на их шеях. Этот, похоже, был таким же, поэтому я был доволен тем, как приструнил его.

Когда мы встретились неделю спустя, незнакомец заулыбался, давая понять, что помнит меня и обстоятельства, при которых мы познакомились.

— Ну что, Вассерман непризнанный? Как оно?

— Спасибо, нормально. Ну, надеюсь, я все же не похож на Вассермана! — протянул я руку.

— Сообщаю по большому секрету: захочешь подискутировать — добро пожаловать в триста пятую комнату!

— Так мы теперь коллеги?

— А ты думаешь, я тут просто так ходил? На картины смотрел? На работу я устраивался...

Почему-то стало радостно оттого, что этот высокомерный пижон будет работать там же, где и я. Так я словно бы получал одобрение своего образа жизни: раз такой сноб не гнушается работать в библиотеке, значит, не таким уж странным в глазах общества выглядел и я.

Спросив мой мобильный, тощий вынул из кармана блокнот в толстой кожаной обложке и начал старательно выводить цифры на белоснежных разлинованных страницах.

— Что это? — удивился я.

— Молескин.

— Ма-лю-скин?

— Ты откуда такой взялся, моллюск? Фирма такая, канцелярию выпускает.

— Да? Никогда не слышал...

Так Юрка стал работать в библиотеке.

Он устроился в сектор КИБО — это такая японская машина с библиотекой в кузове, интернетом и спутниковой тарелкой. Автомобиль курсировал в нашей области по особому маршруту — каждый месяц объезжал те села и деревни, у которых не было своих библиотек.

Несколько раз я заходил внутрь этой машины — это был не книжный склад, а настоящая библиотека. Внутри умещался небольшой салон со стеллажами и книжными полками, оборудованными по стенам кузова. Когда машина стояла, работающий аккумулятор освещал салон. Наверное, было здорово ехать среди книг и стеллажей и видеть, как за окном проплывают березки, сосны и поля. Вечерние поля в росе, над ними вороны. Черт, как же хочется за город, на природу. А у нас даже и дачи нет...

В часы, свободные от разъездов, Юра расхаживал по холлу, придирчиво разглядывал картины, оформление коридоров, как будто уже был полновластным руководителем библиотеки. До каждой мелочи ему было дело.

— Не нравится мне этот совковый кэжуал, — хмурился Юрка, — нет единого интерьера! Боже, а что здесь делает эта панель? Что такого важного она показывает? «Вехи развития сибирской промышленности»? Пф-ф-ф... когда до людей уже дойдет, что стиль рождает функциональность пространства, а не заваливание его красивыми безделушками? В моей библиотеке никогда такого не будет.

В другой раз я застал Юрку за перетаскиванием тяжелого стеклянного столика, что стоял в коридоре на этаже дирекции.

— Что-то мне не нравятся интерьеры. Ну-ка, Серега, помоги! Надо перетащить этот столик туда, где он будет не только элементом декора.

— А так разве можно?

— Отчего нельзя-то?

— Это же ведь надо согласовывать с дирекцией...

— Не бойся, дирекцию беру на себя.

Они перетасили столик в другой угол.

— Вот видишь? Здесь на нем будет удобно читать, плюс прозрачный материал создает эффект легкого футура... Люблю строгость и минимализм.

Скоро в библиотеку подтянулась и другая молодежь: отвязная девчонка Саша, принятая в отдел искусств, и жеманный паренек с волосами цвета меди и манерным именем Савелий, которого взяли в библиотеку писать гранты и проекты. Юра начал тесно общаться с ними с первых же дней работы в библиотеке, а через Юру в компанию влился и я.

В обеденный перерыв мы часто забежали друг к другу в отдели, пили чай. Это были самые интересные времена в библиотеке.

Как-то после работы все вместе мы пошли на вечеринку к Юре, который жил недалеко — в недавно построенном доме на улице Декабристов. Мне сразу понравилось это название. Мы лавировали по засаженным деревьями советским переулкам до тех пор, пока за арбитражным судом не показался зеленый пригорок с новостройкой из красно-коричневого кирпича. Вдоль подъездов, больше похожих на витрины дорогих магазинов, тянулась вымощенная дорожка, стояли кадки с аккуратными деревцами, а рядом — скамейки, на которых сидели хорошо одетые молодые люди. Откуда-то из окон звучал популярный тогда трек «Нарру».

Во дворе дома, выложенном из коричневого камня, был устроен фонтан, а еще — баскетбольная площадка, дорожка для бега, скамейки, турники и брусья. А подъезды и лестничные площадки, обложенные блестящим от новизны кафелем, больше походили на коридоры торговых центров. Живут же люди, подумал я. Откуда у них деньги?

Квартира оказалась однокомнатной. На кухне была мойка и стол, а в боковушке — кровать и завешанная одеждой

сушилка. Но все это было и не важно — в такой обстановке я согласился бы жить и в туалете. Главное — видеть из окна этот чудный, осененный цветным фонтаном двор и гулявших по нему красивых, спокойных людей.

В маленькой квартире разом стало тесно, шумно и весело.

Дом стоял на пригорке, и, когда я вышел на балкон, с девятого этажа открылся прекрасный вид на реку, часть правого и весь левый берег. Отсюда был виден высокий торговый центр, который стоял недалеко от нашей библиотеки, а также мост и серые советские коробки центра, где-то среди которых находился и мой родной дом.

— До работы отсюда — пятнадцать минут, — похвастался Юра.

Под сладкий дымок электронных сигарет заговорили про библиотеку и начальничков.

— Вернулся с рейса раньше, а эта говорит: возвращайся в библиотеку и дорабатывай. Чего, говорю, дорабатывать!? Я уже все ваши задания перевыполнил. Но нет... Возвращайся, и все тут. Вот сово-о-ок...

— И что, вернулся?

— Вернулся...

— И что делал?

— Что, что... Порнуху смотрел. Прямо со служебного!

— И никто не заметил?

— Нет, — прыснул тощий.

— Так а чем еще заниматься за такую зарплату? — добавил Савелий. — Только порнуху смотреть.

— Точняк, — подхватил Юрка, — видели в «вакансиях» объяву? Библиотеке требуется сисадмин. Зарплата от тридцати пяти штук.

Сидящие за столом дружно прыснули.

— Я тут подходил на днях к заму, — продолжал Юрец, — говорю: Викторович, как в современной России прожить

на тринадцать гребаных тысяч рублей? Я их, сука, только на кофе трачу...

— «Нескафе», что ли?

— Сам ты «Нескафе»!

— А ты не в «Бахетле» ходи, а как мы — в «Магнит», в «Пятерочку», — съязвил Савелий.

— А на хрена я вышку получал? Чтобы в «Пятерочку» ходить?

— Ничего, — протянул Савелий, — я, между прочим, магистр...

— ...кислых щей!

— Нет, искусствоведения! И все равно, наравне с этим вашим дурачком в подвале горбачусь...

— ...У дурачка, между прочим, есть имя — Максим! — внезапно резко отозвался я.

— Пускай Максим! Умнее от этого он не станет... Носили мы как-то коробки, а он стоит на пути. Я говорю ему: подвинься! А он мне по-овечьи так: ме-е...

Савелий закатил глаза.

— Пол-России таких идиотов...

— Чего ты хотел? Максим больной человек, — вступилась Саша.

— Больной-то больной, а книги читает! Ты вот, — обратился Юрка к рыжеволосому, — когда в последний раз что-нибудь кроме «Джи-Кью» читал?

— Ты сам-то, библиотекарь, буквы еще не забыл?

— А мне не обязательно читать — я руководом буду, — встал в позу хозяин квартиры. — Меня и так будут слушать.

— Мне страшно представить, во что тогда превратится библиотека, — ухмыльнулся Савелий.

— У меня бы, например, все как в офисе ходили: в черных юбочках, — добавила Саша.

Пока говорил Савелий, мы с Юрой вышли на балкон. Упав в кресло-качалку, тот уютно закурил.

— Здорово, что у тебя все так легко выходит, — вздохнул я.

— Я вот не понимаю — чего ты сидишь? — Юрка доставал третью сигарету. — На пенсии не насидишься?

— Не люблю я все это... Суета, беготня...

— Двигаться-то надо! Директор наш любит инициативную молодежь. Вот и ты просись к нему руководом! Начнешь со своего отдела, а там — будешь моим замом...

— У нас Татьяна Ивановна хорошо справляется...

— Татьяна Ивановна — это уже совок! Пойми, библиотеке нужны молодые и красивые. Так что че ты тормозишь — просись!

— По правилам меня только через три года на ведущего должны аттестовать! А ты говоришь — начальником...

— Пох на правила! Ты хочешь руководом — иди и просись!

— А что ты сам-то не просишься? — парировал я.

— Я уже просился. Подошел и сказал — так и так, хочу быть руководом. По окончании испытательного срока...

— И что ответила?

— Сказала, подумает. Вот так вот. А ты говоришь — год... Хех!

— Что бы такое замутить в библиотеке, чтоб меня заметили? — спрашивала у Савелия Саша, когда они вернулись ко всем на кухню.

— Что, что... — с ходу вступил в разговор Юрка, — вот стану руководом — отправлю в заслуженный запас весь пенсионный фонд, оставлю только молодых и красивых. Во-вторых — никакого «черный верх — белый низ». В-третьих — не нужно ничего изобретать! Человек — банальная обезьяна. Достаточно нанять моделей, замутить с ними возбуждающий контент на фоне стеллажей и книг, и люди сами побегут! Короче, контент нужен, контент! А не это вот, «для тех, кому за...» и прочий колхоз.

— Может, сделаешь услугу «Библиотекарь на пять минут»? — хмыкнула Саша.

Юрец деловито прищурился.

— Это уже слишком, но я подумаю. А что... ты уже готова приступить к обязанностям?

Компания засиделась почти до двенадцати. Первым засоби-рался я.

Вышли во двор. Недалеко от фонтана, в недрах которого загорелись цветные диоды, гуляли парочки с колясками, а какая-то девушка, красивая и спортивная, прямо у воды делала упражнения. Мостик, ласточка, мостик... Все здесь казались спокойными, стройными, летучими, не обремененными обычными человеческими нуждами. Дети солнца все, даже пятидесятилетние... На всех, казалось мне, была новая одежда, чистая и яркая, — и мне, как обычно, показалось, что до меня доносится запах шампуня от их волос, — у них должен был быть какой-то особенно прекрасный шампунь с мандариновым запахом.

Немного посидев вместе со всеми у фонтана, я пошел домой, слушая, как коллеги, глуповато-веселые и праздничные, шумят за моей спиной, рассказывая друг другу несмешные анекдоты.

Оказавшись за воротами дома, я впервые задумался о том, что, возможно, все это время занимался не тем, чем стоило. Ведь рядом были люди, которые умудрялись жить совсем иначе, совершенно мне незнакомой, но при этом какой-то ясной, чистой, правильной жизнью. Чем они лучше меня? Почему у них получилось?

Впервые в жизни я ощутил себя пыльным, застоявшимся.

2

Из письма Сквородникова жене в Москву (1929):

«Дорогая Леночка! Слушаю падающую с карнизов капель, вдыхаю весенние запахи — перемены, надежд; каждый

год — одни и те же решительно не утраченные иллюзии. Быть может, это и правда второй шанс? Когда стало ясно, что чиновник из меня не получился.

И не случайно давался этот шанс мне здесь, в молодом, стремительно растущем городе? И вот теперь, после тяжелой работы, уже было сдавшись, я чувствую прилив сил.

Завершаю первый том „Истории земли Сибирской“. Какие удивительные судьбы, люди, драмы, сюжеты, характеры! Какие великие страсти! Люди противостояли не просто властям и природным стихиям — они, что не в пример важнее, противостояли таким же, как они, сильным, целокупным натурам, сильным, яростным личностям. Нет, Леночка, ты обязательно, непременно полюбишь этот город со всей данной тебе страстью к постижению нового и лучшего в человеческих душах.

Каждую из моих любимых доченок целую крепко и нежно. Какие вы молодцы, какие умницы. Но, Катенька, тебе надо исправить четверку по математике. Только пятерки! А то знаешь, сперва с четверкой смиришься, а потом и с тройкой, а там и до неудов недалеко».

3

Из моего черновика:

«Впереди, вторя всему духу новых культурных начинаний, над малоэтажными пологими кварталами центра рос огромный, словно пирамида, купол — такой, что, как бы ты ни торопился, не пройдешь мимо: залюбуешься.

По могучему, похожему на черепаший панцирь куполу в нежной утренней синеве ползли маленькие, словно вошки, рабочие.

Яков Сквородников, директор городской библиотеки имени Розы Люксембург, каждое утро шел на работу мимо этого

чуда и с любопытством, а иногда даже и открыв рот следил за тем, как постепенно вырастает над пологими крышами это новое чудо света. Еще в Москве впервые прочитал он о строительстве в Сибири нового, небывало большого по размерам и неслыханно искусного в техническом смысле (движущиеся сцены, летающие занавесы, грандиозное освещение) театра оперы и балета.

Для строительства нового чуда света долго выбирали город. На очереди были Омск, Томск, Красноярск, но выбрали самый молодой город, который еще не получил названия.

Года два назад, когда Яков Константинович увидел в „Правде Сибири“ первые фотографии гигантской стройки, то не поверил, принял фото за одну из тех грандиозных строительных выдумок, что в последние годы волновали, пьянили общественность, — а потом решил, что это розыгрыш, фото с американской стройки. У них там, в Нью-Йорке, да, такое возможно. Мегаломания называется. Там есть какой-то Вулворт-билдинг в 57 этажей. И новые строятся, уже под сто этажей, говорят. Сумасшедшие люди, они хотят быть выше птиц! Но Америка — это другая планета. Товарищ Сквородникова, Никодимов, был там по приглашению компартии США, так и сказал: „Люди замечательные, простые и приветливые, но во всем, что касается строительства и производства, это другая планета, Марс на Земле, и поэтому оставаться там не хочется во избежание утраты связи с планетой Земля“.

Стояли здесь серые бараки, избы, рощица была, колодцы, бегали босые детишки, паслись куры и гуси.

И вот за растущей в конце улицы рощицей вдруг вырос... шалаш. Шалаш такой высоты, каких еще не знал расстелившийся у подножия будущего колосса город.

На улице было все как в прежние времена — заборы, одноэтажные избы и бараки, гуси; крестьяне, застуканные

за работой фотоаппаратом, недоверчиво косились на странное сооружение, на откуда-то выросший за рощицей непонятный холм.

Он представил, как выходила утром со двора заспанная крестьянка, спросонья оглядывала странное сооружение и шла работать по хозяйству. Интересно, спроси эту крестьянку о растущем у нее на глазах чуде — что бы сказала?

А шалаш все рос, округлялся, обростал хрящами реек. Все выше тянулись к небу каркасы и опоры, а деревянный скелет реек все больше напоминал гигантскую черепаху, по панцирю которой ползали черные деятельные фигурки рабочих, формируя контуры будущего театра.

И теперь он мог увидеть рождение чуда культуры своими глазами.

Вот, чернея на фоне утреннего неба, на еще прозрачном куполе появлялся первый строитель и, посмотрев вниз, кому-то махнул рукой. Поднимаясь темной вилкой по приставленной лестнице, на куполе появлялся второй и третий.

Вот снизу, передаваемая невидимыми руками товарищей, по лестнице к основанию купола ползет одинокое деревянное ребро фермы.

Темные силуэты по округлым бокам уже установленных ферм взбираются на вершину купола — на самую верхотуру, выше которой нет в расстелившемся внизу городе.

И ферма, обтянутая веревками, влекомая рычажным трудом, приподнимается гигантским коромыслом, и, словно длинная шея доисторической рептилии, кивает, опускается на вершину купола, на его верхнее кольцо, основание.

Там ее хватают цепкие руки и прилаживают в паз.

Ферма установлена!

Давно уж исчезла та рощица, за которой возник выросший в Колизей шалаш, нет уже и тех избушек, и тех крестьян, что, на мгновение прерываясь от забот, недоверчиво оглядывали

растущую над горизонтом громаду. А есть серый строительный городок, вдоль территории которого спешат протоптанными в снегу тропинками горожане.

Пространство перед растущим оперным уже превратилось в площадь, окружило себя строгими новостройками.

Этот город был лишен столичных декоров — имперских ли петербургских, купеческих ли московских; город этот был богат не прошлым — будущим. Город, который, как думал Сквородников, обещал научить Россию чему-то новому.

Вот площадь, по которой, лавируя между людьми, ползут автомобили, вот проспект, на который с небывалой раньше высоты смотрят прямоугольные, подчеркнута геометрические новостройки; смотрят строгими, распахнутыми, аскетически прекрасными окнами...

Но в этой строгой прямоугольной серости своя красота.

Это красота будущего.

На широкой площади, где, словно бревна по реке, пока еще снуют извозчики... уже вырастают новые люди: свободные, строгие и красивые. Они мчатся мимо строгих каменных зданий на стремительных машинах...

Ну а пока, лишаясь последних зазоров, обрастая железобетонной кожей, будущий символ сибирской культуры только рос, только обещал строго красивым домам и расстелившимся у подножия избам наступление чего-то нового и светлого.

Обещал, что посреди дикой необжитой Сибири, вдали от Москвы и Петербурга потомки неграмотных крестьян будут слушать Бетховена, Баха, Шопена и даже, быть может, Мориса Равеля — почему бы и нет.

И от одного этого простого обещания дышалось по-особому — легче, радостнее... По-сибирски...

Растяжки со словами „Даешь храм науки и ученых... За четыре года!“.

„Пускай Сфинкса поднимали тысячи рабов, а мы — вдесятером“, — думал Сквородников, подходя к родному книжному подвальчику на Красном.

Там, в тени подвального козырька, его уже ждал незнакомый человек».

4

Из моего черновика:

«Когда отшумели первые громы революции, а вместе с нею — бунтарские порывы, жизнь Сквородникова вошла в спокойное русло. Сквородников обзаводится семьей, живет в Москве, работает в Наркомпросе, страстно увлекается краеведением родной ему Сибири, участвует в написании учебников, получает — о боги! — отдельную квартирку на Покровском бульваре. Маленькую, но отдельную, это ли не чудо?

Уже отчаявшись найти что-то интересное, я набрал его имя в электронном каталоге и среди списка книг увидел заглавие, живо меня заинтересовавшее: „Сквородников. Сожженные письма“.

Книга была издана в 1995 году в соседней области, но почему-то не упоминалась в библиографиях.

Мне казалось, что именно в этой книге были ответы на все интересующие меня вопросы — пролить свет на драгоценный семинарский период и на взгляды молодого Сквородникова, которые, как я ожидал, окажутся вовсе не такими, как пытаются показать охочие до прибыли писатели.

Собравшись заказывать книгу, я проверил электронный формуляр.

Книга на руках — уже почти месяц на руках у некоего Аскольда Иваныча.

Который, судя по сроку выдачи, должен был вернуть ее через неделю.

Казалось, „Сожженные письма“ несли разгадку заинтересовавшей меня тайны. Разгадку, ни для кого не удобную.

Иначе зачем потребовалось бы их сжигать?

Я с нетерпением ждал возвращения книги».

5

«Сожженные письма» не сдали ни через неделю, ни через месяц.

6

Через полгода охоты за «Сожженными письмами» я возненавидел это имя.

Когда бы я ни приходил, книга, от которой зависело так много (мое творчество), была на руках у вечного Аскольда Иваныча. Казалось, он появился на свет специально для того, чтобы мешать рождению моей книги. Это странное напыщенное имя стало для меня синонимом недобросовестного читателя.

Но делать было нечего. Не желая простаивать, я пробовал выкарабкаться на ресурсах собственной фантазии.

Уж до трагичного хорошо ложилась биография скромного краеведа-библиографа на шаблон неблагонадежности: семинария, подозрительный круг общения, противодействие чисткам библиотек, благородное поведение на допросах, острое чувство семьи...

«Тихое, небравадное мужество Сковородникова, — писал я в предисловии к своей книге, содержание которой было мне все так же непонятно, — его полная благородного труда жизнь — все это, казалось, содержало какой-то важный урок, который не могли затмить пристрастные оценки историков, каждый из которых желал перетянуть Сковородникова на свое место. Сквозь ил и наслоение времени этот урок, составлявший

суть его жизни, словно чистый подземный ключ (родник), пробивая ил, все наслоения времени и выступая на поверхность, играя на солнце, бил своей прозрачной хрустальной красотой...»

Урок пробивает ил.

Нет, это родник пробивает ил.

Урок, играя на солнце, становится хрустальным родником?

Кажется, я окончательно потерялся.

Юрке, когда я показывал ему свои черновики, роман не нравился.

«Сковородников... Пф-ф-ф... Кто его вообще знает? — говорил он, — то ли дело Сорокин...»

Иногда, умирая от смеха, я отправлял ему в Сети свои заметки с простоватым телесным юмором, которые писал на досуге. Вот их Юрка хвалил гораздо больше и даже величал меня «ранним Сорокиным»...

С тех пор я не раз бывал в гостях на улице Декабристов. И однажды Юрка наконец рассказал немного о себе.

Его детство было безбедным и безоблачным — мама, деловая женщина, угодила в девяностые в нужную струю, так что о будущем маленький Юра мог не беспокоиться. Матери, понятное дело, он почти не видел и больше времени проводил с бабушкой, к которой очень привязался.

Став старше, Юрка отдался веселому студенчеству — благодаря созданной матерью подушке безопасности он мог учиться там, где пожелает душа. Как ни странно, Юра выбрал филологию и педагогику.

Годы шли, и однажды, за месяц до получения диплома, Юрина мама обратилась в медицинский центр — беспокоили странные ощущения в сердце. Сказались годы беспорядочного питания, недостатка отдыха, но, по уверениям врача, всё должны были решить несложная операция и несколько дней больничного режима.

На следующий день после операции Юра сидел в холле медицинского центра и тихо шуршал конспектом — через два часа ему предстоял экзамен. Наконец в регистратуре зазвонил телефон — сняв трубку, дежурный врач пару секунд посмотрела на Юру.

— Да, — медленно сказала она. — Мальчик тут. Ждет...

Отложив в сторону тетрадь, Юра подошел к регистратуре.

— Вас просят подняться в хирургическое отделение.

Не предчувствуя ничего рокового, он поднялся. В кабинете усталый, но вежливый врач сообщил: Юрина мама не пришла в себя после наркоза.

Начав что-то говорить, Юра осекся: до него вдруг дошло, что речь шла не о каком-то постороннем человеке, а о родной матери — еще молодой и целеустремленной женщине, которая, казалось, могла работать сутками и не уставать. Той самой, что собиралась после операции открывать новую точку, наконец, стать директором торговой сети и подарить ему джип на окончание университета...

Уроки в тот день он, ясное дело, вести не стал. Голову занимали уже другие безрадостные заботы.

В квартире, которую она, здоровая, полная планов, покидала три дня назад, все, казалось, застыло в ожидании матери: висел подготовленный для торжества костюм, лежал раскрытый еженедельник. «24-го — открытие», — прочитал ошеломленный Юрка. Двадцать четвертое должно было наступить послезавтра...

Через полгода он вступил в наследство. Оказалось, что денег у мамочки и не было. Все заработки она пускала в оборот, все держалось на каких-то договоренностях, никем не слышанных честных словах, на старых дружбах. И знакомства — а все, чем хвасталась мать, все бизнесы были записаны на других людей: старинную подругу матери Тамару, троюродного брата, живущего где-то на Кипре и странным образом не подходившего к телефону.

С Тamarой увиделись в кафе. Она — по форме почти ровный шар, не овал даже — пришла с юным мужем, златокудрым, с маленьким злым личиком.

— Какие деньги, Юрочка, — с улыбкой сказала тетя Тамара и погладила мужа по спине, как кошечку. — Танечка мне двенадцать тысяч евро осталась должна, но кто ж с сироты потребует. Это пусть будет подарок мой тебе на окончание университета.

И вправду оказалось, что Тamarочка — свет, добро и любовь. Потому что другая мамина подруга-подельница (которую мама исправно спасала то от бьющего мужа, то от алкоголизма, то от каких-то таинственных женских болезней), несчастная Олечка с затравленным взглядом, как оказалось, вышла с долговым иском за месяц до маминой смерти. Какие-то недопоставки, санкции, нарушение договора, упущенная прибыль. Вступив в наследство (квартира, машина, дача и ООО с отрицательной прибылью), Юрка принял и полтора миллиона рублей маминого долга, и больше трех миллионов — долги по кредиту, который мамочка, как оказалось, еще при жизни просрочила. Мамочка верила только в нал, часто повторяла со смешком, считая толстые пачки купюр: «Маешь вещь», — а потом оказалось, что нигде нет этих пачек, ни дома, ни в офисе, растаяли как сугробы.

В те дни Юра физически чувствовал, как чьи-то невидимые, но сильные и безжалостные руки все сильнее обвивались вокруг его горла. Формально он был свободен — мог встречаться с друзьями, ходить в кафе, мог целыми днями сидеть дома, — но эта подвешенная на волоске свобода была хуже неволи, и люди, пробегавшие мимо его окна, опаздывающие на свою грошовую работу, в те дни казались безнадежными счастливыми, не понимающими, каким сокровищем обладают.

Он пытался сократить кредитные выплаты. Насоветовали адвоката. Дело затягивалось. Судья зевал, адвокаты тоже были

всегда невыспавшиеся и, казалось, стремились не решить проблему и спасти конкретную судьбу, а поддержать работу бюрократической системы, частью которой являлись.

Тем временем сумма кредита, за который он поручился, росла от месяца к месяцу.

Нужен был хороший адвокат — нужны были деньги. Юра продал дачу и мамину квартиру, а сам поселился в бабушкиной. Бабушка за ним ухаживала, к плите не подпускала, ходила на цыпочках, на ночь читала ему Бунина. Однажды Юрка обнаружил, что сидит на коленях у бабушки, будто пятилетний, и горько, беззвучно плачет ей в затылок, прямо в ее седой учительский пучок.

В итоге суд удалось выиграть, но часть долга все же пришлось заплатить. К концу процесса он посмотрел на себя в зеркало — и увидел, что у него пегие волосы: серо-русые и белые, совсем седые. Прикольно, сказал он тогда, вот бы еще и брови вытравить.

Тянулись вялые разгрузочные дни, наполненные сном, праздностью и думами. За окном куда-то торопились люди, но ему не нужно было торопиться — запас прочности, вырученный с продаж, мог обеспечить его существование еще на полгода, но свалившееся на него изобилие дней, часов, недель, которые некуда было деть и не на что потратить, не радовало. Было бы на что — он легко ими пожертвует.

Но время требовало приходить в себя и начинать новую жизнь. На остатки денег Юра купил однокомнатную в Октябрьском районе — перспективной новостройке бизнес-класса.

Вскоре устроился работать и в библиотеку.

Бабушка и теперь выручала — при отсутствии денег Юрка каждый день ходил пешком пять километров (на трамвае экономил), чтобы, как он говорил, «хоть раз в день пожрать горячего».

Рассказывая мне все это, Юрка проворно забрался на электронные весы. Через мгновение на табло высветилась цифра 58.

Мы были одного роста — 185, но он весил почти на двадцать килограммов больше.

— Так и живем! А до библиотеки хотя бы 64 весил...

7

Как-то Юра пропал из виду — перестал встречаться в коридорах, не появлялся на чаепитиях, а когда я забежал к нему в конце рабочего дня, в его отделе говорили, что он отпросился пораньше и ушел.

Прошло недели две, и мы наконец встретились в коридоре, когда тот выходил из отдела помыть посуду — выглядел он растерянным и каким-то отстраненным.

— Что случилось?

Он не ответил, а только предложил прогуляться после работы.

Встретились у библиотеки. Юра раскрыл большую сумку и протянул мне несколько шелестящих конфет.

— Вот, помяни Антонину Иннокентьевну, мою бабушку. Сегодня уже девять дней.

Я оторопел. Ситуация требовала проявить сочувствие, но я практически не знал Юриной бабушки — лишь однажды недолго говорил с ней по телефону. И теперь стеснялся своей неспособностью разделить чужое горе.

— А почему с коллегами не помянул? — только и спросил.

— А, — махнул рукой Юрка, — какой смысл? Скажут: на жалость напрашивается...

Шурша конфетными фантиками, мы побрели по зимней слякотной обочине. Мимо шелестели автомобили, как будто изо всех сил желая обрызгать ледяной грязной жижей...

Пока мы шли, размытая небесная синева опустилась на город, и день незаметно, за одну минуту, превратился в вечер. Люди, пропустив наступление вечера, не успели зажечь в домах свет, и те стояли мрачными темными монолитами.

Юра остановился... И по тому как он, пошатнувшись, укрыл лицо руками, я догадался, что тот плачет.

— Чернота... Бессмысленная... — звучал тихий, как будто и не Юркин голос. — Чернота...

Не зная, что сказать и чем помочь чужому горю, я беспомощно стоял рядом...

На сорок дней Юра позвал меня в бабушкину квартиру, в которой теперь жил.

Квартира оказалась просторной габаритной брежневкой, пропитанной запахами советских вещей. Пока Юра возился на кухне, я прошел в большую комнату с трельяжем и массивным шкафом, в котором за стеклом покоились книги Стефана Цвейга и Сергеева-Ценского, тут же — батареи хрусталя и советские фарфоровые сервизы. На столе у окна лежали горсткой разрозненные пазлы, на которых можно было разглядеть фрагменты стандартного английского пейзажика. Овечки, кусты, облака, домики с дымящими трубами...

Наконец, хозяин квартиры — заросший, кудлатый и как бы потерявший былой лоск — появился в комнате с дымящимся чайником и подносом съестного.

— Чем занимаешься? — спросил я.

— Ничем...

— Важно не заикливаться, — сказал я. — Надо думать о хорошем. Видеть перспективу... Искать позитивный момент в происходящем.

Сказал — и сам содрогнулся от собственной пошлости.

— Не могу... Только начну отходить... и вдруг что-нибудь увижу... Пачку имбирного чая... который она не любила, называла «хренодером», но покупала ради меня. Или пряжу с недовязанными — догадайся для кого — зимними носками.

— Чаще бывай на улице...

— А на улице — вообще никакого спасу: у одной — бабушкина походка, у другой — старенькое — прям бабушкино! — платье.

А у кого-то бантик, как у ней в волосах, белеет... Выйду, нагляжусь — и, утираясь, бегу обратно.

Я вздохнул, не зная, что посоветовать.

— Вот только думаю, — продолжил Юра, — памятник, что ли, поставить?

— Хорошая мысль! Но это обычно через год делают...

— Хочу, чтобы она молодая там была, полная надежд и как бы еще только вступала в свою жизнь. Но не эту... которая была, а...

Как и в тот раз, Юра не договорил. Не желая стеснять его чувств, я вышел из комнаты и ушел подальше — в боковушку в дальнем конце коридора.

Там, в небольшой комнатке, в которой коротала последние дни и часы бабушка, стояло тяжелое инвалидное кресло, от вида которого в комнате становилось как-то неуютно.

Повинуясь странному внутреннему зову, я коснулся жесткого неудобного сиденья...

Вот здесь, в этом ящике на колесах, встречала последние рассветы бабушка Юры. За окном шумели моторами и гудками машины, поскрипывали шаги прохожих, раздавались крики детей и другие отзвуки жизни, но в комнате оставалось все буднично и статично. Лишь нервно металась по окну запоздалая осенняя муха. Однообразие пыльного ковра на стене, смятой отсыревшей простыни и кроватно-сидячих дней. Жесткое неудобное сиденье, мутно блестящие поручни ненавистой коляски и бледный полумрак дня, едва пробивавшийся в комнату через балкон. Когда дней очень много и все как один. И главное, что из этого уже никак не выбраться.

Страшно было представить, сколько таких невыносимых минут провела здесь Юрина бабушка. Я ощутил радость, что, в отличие от нее, могу уйти из постылой комнаты на сильных здоровых ногах и забыть эту коляску как кошмарный сон.

Или это только казалось? Не была ли похожа вся моя жизнь на эту унылую минуту?

На пороге я столкнулся с неожиданно повеселевшим Юркой, который отправился курить на балкон.

— Бабушкина? — глупо спросил я, показывая на коляску.

— Не моя же!

— Ты не думал от нее избавиться?

— Ну, ее можно продать на «Авито»... А что?

— Ты знаешь, она... напоминает мне о плохом.

— Призраков боишься, что ли, — Юрка весело взглянул на меня, — да я сам в ней катался... Смотри, трусишка!

Юрка проворно уселся в коляску и начал вращать колеса, но тяжелое кресло оставалось на месте.

— Эх, — кряхтел Юра, — заржавела, что ли?

Коляска сдвинулась сантиметров на десять и больше не двигалась.

— Ну ее на хер! — вдруг разозлился и выскочил из черного сиденья, словно оно было раскаленным. — Точно сдам ее на «Авито».

— А представь, так всю жизнь? — сказал я и сам испугался своих слов.

Юра посмотрел на меня странным остановившимся взглядом, затем взялся за черные ручки и укатил коляску в другую комнату.

А вскоре и вправду продал.

8

Волна новых увольнений, которую я ждал с беспокойством, пришлась на осень. Мелькнув в отделах желтоватым пламенем волос, вначале обошел библиотеку с обходным листом Савелий. А затем — Саша.

— Куда я ухожу? Туда, где зарплата похожа на зарплату, — ответила она на мой вопрос и ушла, прощально волнуя на спине реку прямых осветленных волос.

Чего они хотели, чего ждали, зачем пришли сюда — так и осталось мне непонятным. А только в тот счастливый день, когда, веселые и молодые, они сидели в гостях у Юры и проблемы с деньгами казались надуманными — такие таланты, как они, обязательно найдут способ обойти систему, — я уже предчувствовал, что надолго они тут не задержатся, и как бы фотографировал памятью их ясные взгляды, улыбки.

Через три месяца уволился и Юрка. В последний день забежал в отдел и поманил меня пальцем за стеллажи.

— А как же руковод? — язвительно спросил я. — Ты ж рвался в руководы?

— Хотел да перехотел... Вот годик, говорит, отработаете, а там поглядим. Ага, годик... Чтобы я еще год занимался благотворительностью? У меня вон друг контору открывает, говорит, зови с собой всех перспективных. Пошли?

— Нет, — отрезал я, — я никуда не пойду.

— Ты же пишешь как молодой Сорокин! Там тебе будут за это платить в три раза больше, чем здесь! Сколько ты сейчас получаешь? Тринадцать тысяч? Это же совок галимый!

— Ну здесь я чувствую, что работаю за что-то большее, чем просто деньги, — возразил я.

Юрка расхохотался.

— Ладно, как знаешь! Я хотел как лучше для тебя же.

Больше поговорить с ним на эту тему не удалось, а потом, уволившись из библиотеки, Юрка пропал из виду.

9

На третий год моей работы в библиотеке меня повысили до первой категории. Положения моего это не изменило. Новой зарплаты по-прежнему не хватало, и, вспомнив былые навыки, я стал подрабатывать внештатным журналистом. Несмотря

на все усилия, деньги кончались за неделю до зарплаты — и тогда в ход шла мамина пенсия.

В то время меня преследовало ощущение, что моя жизнь висела на волоске, полностью завися от капризов случая: стоило нагряться болезни, аварии, прорыву канализации или какому другому несчастью, пришлось бы влезать в долги и, чего доброго, бросать работу в библиотеке. Я чувствовал себя беспомощным перед любой случайностью.

Библиотеке тем временем предстоял большой ремонт. Старый библиотечный мир, в котором хорошо ориентировались сотрудники, больше не годился для привлечения читателей. Здание, в котором находилась библиотека, оказалось непригодным для инвалидов и других «инклюзивных» групп. Устраняя этот недостаток, туалет из трех кабинок на первом этаже разрушили, поставив вместо него инклюзивный, который вечно стоял пустым. Теперь в нем переделывался Максим.

Изменения коснулись и отдела художественной литературы, где я работал. Половину книг из отдела вынесли, зато сделали новый ремонт и положили на подоконники матрасы и подушки. Перевязанные в пачки книги, сваленные в груды на полу, ждали своей очереди на списание.

В отделе появились укороченные — для колясочников — стеллажи; чтобы взять с них книгу, нужно было низко нагибаться.

А на месте разделов с естественными науками появился сектор комиксов. Теперь там можно было встретить не только детей и подростков, но и взрослых мужчин, которые, присев на яркий детский пуфик, внимательно, с задумчивым видом их листали.

Помогая нам обустроить новый зал, Максим целыми днями переносил списанные книги в подвал. И когда мы отдыхали в служебной комнате, пили чай, он продолжал работать.

Однажды, когда Максим уже долго носил перевязанные пачки, я отложил книгу в сторону и встал с дивана.

— Давай помогу.

Максим притормозил, посмотрел, как мне показалось, удивленными глазами и двинулся дальше. Я подхватил несколько стопок книг и пошел за ним. На перетянутой подтяжками его спине был заметен сильный сколиоз — почти горб.

Максим спускал книги через черный ход в подвал библиотеки, где стояли старые стеллажи с книгами и поломанная библиотечная утварь. Подвал был темным и старым — очень похожим на тот, в котором мог сидеть Сквородников. Казалось, стены его знали какую-то страшную тайну.

Я даже догадывался, где это могло быть.

В центре серой подвальной стены виднелся пролом, из которого пахло теплом и плесенью и в который мне всегда хотелось заглянуть, но было страшновато. Кто знал, что скрывалось там? Да и ничего нельзя было увидеть, только становилась ближе пугающая, неизвестно что скрывавшая тьма.

Я встал на цыпочки — и темнота, что скрывалась в дыре, приблизилась. Я ощутил на лице ее холодное дыхание. Она прямо-таки уставилась на меня, эта темнота.

Рабочий на какое-то время пропал за углом и, когда я уже входил в помещение, вдруг резко, внезапно вышел мне навстречу. Мы буквально столкнулись лбами. За то небольшое время, что мы стояли друг напротив друга, я успел разглядеть его лицо.

Вблизи у Максима оказалось обычное взрослое лицо, в котором трудно заподозрить душевный недуг: нахмуренные (словно бы от тягостных мыслей) брови, седые, кем-то аккуратно постриженные волосы и морщины, которых вблизи оказалось больше, чем издалека.

Лицо это даже можно было назвать по-мужски красивым.

Наконец, я посмотрел в глаза Максима — с красноватыми прожилками и большим темным зрачком, они напомнили мне

глаза ребенка, младенца: в них не было обычной для взрослых подозрительности и настороженности.

Эти глаза, как оказалось, не боялись чужого пристального взгляда и даже, наверное, не понимали, почему большинство людей, не выдержав, начинают смотреть в сторону.

Дни, недели, месяцы и годы работал здесь этот смирный, кроткий человек, таская тяжести за всех в библиотеке, неутомимо поднося и переноса, раскладывая и собирая и переживая безрадостную рутину или брань завхозихи глубоко в своих мыслях. Возвращался домой, где, возможно, прокручивал в голове услышанные в свой адрес гадости, — а на следующий день все повторялось снова. А может, и не прокручивал, не осознавал?

Максим издал горлом какой-то неопределенный звук — не то хрип, не то стон. Мне стало неприятно, и я отвел взгляд. Мы разошлись.

С этой секунды что-то переменялось во мне. словно бы тихая, безропотная и совершенно бесконечная, какая-то океанически огромная скорбь, затаившаяся в глазах этого человека, перешла на меня, перелилась в мои глаза, вселилась в мою душу. Я впервые почувствовал, что в нем нет никакого спокойствия и нет смирения с его размеренным, расчисленным занятием, что это все иллюзия, что за большим — будто атропин ему закапали — черным зрачком трепещет огромное, таинственно-мучительное пространство.

И все это время, пока мы носили книги, мне виделась та же скорбь в лицах людей, что разгуливали меж стеллажами и просто встречались по пути. В их глазах было то же выражение усталого несогласия, которое с такой болезненной наготой отразилось в лице бедного Максима, за долгие годы жизни не научившегося маскировать свои чувства.

Честно говоря, я начинал жалеть, что предложил свою помощь, но бросить работу уже было нельзя.

— Что вы, оставьте, — обратилась ко мне сотрудница. — Максим донесет.

— Осталось немного, — ответил я как можно веселее.

Люди в галстуках и белоснежных офисных рубашках, что курили на крыльце неподалеку, посматривали в нашу сторону весело и многозначительно, когда я и Максим подходили к темному зеву подвала с очередной порцией книг.

Через дорогу у крыльца университета оглашали небо радостными воплями нарядные выпускники.

У них был праздник — пока они были молоды, им казалось, что мир приготовил для них что-то особенное, что-то несравненно лучшее, чем участь двух полудурков, что через дорогу от них таскали в подвал пыльные стопки книг.

Я вспомнил себя, сияющего и молодого, с заветным красным дипломом в руках...

Сейчас мы с Максимом казались им двумя идиотами, лузерами, двумя отстойными, бессмысленными недоумками. Но пройдет несколько лет, крыльцо университета забудется, и, перейдя дорогу, которая все это время отделяла их от взрослой жизни, они поймут, что праздник на их улице закончился.

Когда оставалось несколько пачек, я отпустил Максима и сказал, что донесу сам.

— Пойду обедать, — затараторил он, голос его звучал торопливо и невнятно, — пойду обедать, потом таскать в актовЫй зал. А потом — в абонемент. А потом пойду в комнату тридцать два, потом налево поверну. Здравствуйте, Анна Павловна, я так скажу... А потом что?

Продолжая с кем-то делиться подробностями своей ходьбы, Максим заторопился по коридору. И монотонное это «а потом, а потом...» следовало за ним, как эхо.

После того случая, когда я помогал Максиму, он стал называть меня по имени. А когда мы встречались в библиотечных коридорах, он странно, словно бы от сильной боли, кривил лицо.

Гримаса эта оставляла двоякое впечатление: боль? радость? смущение? И лишь однажды я понял — так Максим мне улыбался...

Я стал замечать за ним и другие любопытные вещи: повстречав на лестнице торопившегося куда-то коллегу, он, не замечая его спешки, торопливо передавал городские новости, которые узнал в Сети. А когда тот отмахивался, Максим не замолкал и какое-то время шел следом, продолжая рассказ.

В такие моменты я всегда старался приостановиться и хоть немного послушать Максима. Сказав все «важное», он успевал внимательным взглядом заметить, что я похудел, да и одет не по погоде:

— Н-н-на улице холодно! Носите свитер, Сережа.

А однажды, вскоре после того, как мы таскали в подвал книги, нам удалось даже поговорить.

Требовалось помочь Максиму вынести старые стеллажи из комнаты, которую тоже собирались ремонтировать. В ожидании сотрудницы, которая должна была открыть нам помещение, мы, прислонившись к перилам старой лестницы, стояли в коридоре.

Максим, беззвучно шевеля губами, смотрел куда-то перед собой.

На тот момент уже многие неизвестные моменты жизни Максима не давали мне покоя, и я решил нарушить тишину.

— Ты давно здесь работаешь, Максим? — осторожно спросил я.

— Давно, — ответил он без запинки, — когда в подвале еще играли в теннис...

— Ничего себе! Наверное, ты все-все-все знаешь про библиотеку?

Максим не ответил. Вместо этого я услышал в его голосе новые, незнакомые мне прежде модуляции, похожие на серию мелких судорожных выдохов.

Смеется, догадался я.

Раньше я никогда не слышал Максимова смеха.

— А почему ты читаешь о Сквородникове? Чем он тебя привлек?

Максим удивленно посмотрел на меня.

— Ты много о нем знаешь?

— Он очень хороший! — радостно сказал Максим. — Он книжки любит, прямо как я и прямо как ты, Сережа! Он все книжки собрал и сюда принес!

И Максим широко развел руки, как бы приглашая наслаждаться сквородниковскими дарами.

— Он был великий человек п-п-прекрасного мира! — торжественно сказал Максим.

...Казалось, никто кроме меня не желал разговаривать с Максимом. В библиотеке сторонились и даже иногда хамили ему, давая выход накопившейся усталости и раздражению, — но делали это скорее беззлобно и старались улыбнуться.

Откровенно плохо обращалась с Максимом все та же завхоза — женщина с какой-то куриной фамилией и длинным отчеством, которую я никак не мог запомнить. Ирина, что ли... Иногда, когда Максиму не нравилось задание, он, как бы оправдываясь, несмело и невнятно что-то спрашивал, на что завхоз на глазах у всех бесцеремонно разворачивала его за плечо и подталкивала в спину:

— Иди работай! Еще он возмущаться будет. Вообще уже стал... Охамел...

Она травила его просто так, без необходимости, а по какой-то загадочной для меня инерции. Увидит сидящим и начинает:

— Ишь сидит! Ты куда приехал, в санаторий? Так и скажи: в санаторий, в спа-отель я приехал! Подать мне сюда обед из шести блюд!

И заливалась смехом.

Я твердо решил как-нибудь сказать завхозу, что ее поведение с Максимом непозволительно. Про милосердие хотел сказать,

про «дворянское чувство равенства со всеми живущими» (вычитал у Пастернака), про достоинство, про самостояние человека — залог величия его, ведь Максим вполне мог быть образцом такого самостояния: он противился своей болезни и обстоятельствам. Он герой, неужели вы не понимаете? Он заслуживает исключительно уважения.

Но, повстречавшись с ней в коридоре, я всякий раз ощущал сковывающую язык робость. Как будто в глотку мне запихнули кусок льда из холодильника — противного, пузырящегося, с привкусом фреона (я воображал, что у фреона именно такой привкус). Ничего не говорил, здоровался и проходил мимо — а потом изо всех сил презирал себя за малодушие.

10

Реорганизация тем временем шла полным ходом.

В библиотеке осталось не так много студентов и просто горожан, зато зачастили важные неповоротливые люди в рясах и высокомерные чиновники — «важные пиджаки», как называл я их про себя.

Директор часто приводила их в новый библиотечный зал в надежде получить дополнительное финансирование. Мне запомнился один, со значком популярной партии на лацкане пиджака. Выслушав восторженный рассказ экскурсовода о купленной недавно за миллион рублей станции, выдающей книги без участия библиотекаря, он сдержанно спросил: «А человека, который работал на месте машины, уволили?»

Помимо «пиджаков» библиотеку часто посещало наше непосредственное начальство. Особенно часто приходила степенная строгая женщина, где-то в департаменте культуры занимавшая не последний пост.

Проходя мимо кафедры под ручку с улыбчивым директором, она никогда не здоровалась с библиотекарями.

Заслышав издали неспешный цокающий шаг, я начинал все тихо ненавидеть.

Надменную даму я невзлюбил с той самой конференции, когда, выслушав мой доклад о критериях качества литературы, она поставила мне низкий балл из-за «спорной темы доклада». Как выяснилось, спорность заключалась в том, что, по мнению куратора, у всех писателей свои критерии художественности и единого подхода здесь нет. Каждый сам себе художник — и судит себя по законам, им самим поставленным. Все как Пушкин завещал.

На эти несправедливые слова я готов был возразить, что Пушкин завещал не это, что критерии искусства начали складываться уже несколько тысяч лет назад и у людей было достаточно времени понять, где искусство, а где его нет... Много на что хотелось возразить, но я не стал. Опять-таки: в припадке необъяснимого малодушия.

Обидно было даже не из-за выскользнувшей из рук премии в полторы тысячи, положенной за первое место, сколько из-за того, что такие вот люди решали судьбу работников культуры и библиотек.

— Если бы ты научился возражать начальству, — однажды задумчиво сказала Инна, — это пошло бы тебе на пользу.

В другой раз я обслуживал высокопоставленного господина — человека из команды областного министра.

— А есть Пешковский? — обратился мужчина. — Мне нравится, как он пишет.

Пешковский был популярным фантастом, у которого попутанцы напрыгивали на пришельцев, а роботы — на динозавров. Год от года он становится все популярнее, его фантазии никак не иссякали.

Пешковского на полке не оказалось, и меня попросили подобрать что-нибудь на свой вкус.

— Лема, конечно же, читали? — обратился я к господину, ожидая, что он рассмеется и скажет: «Конечно, ну что вы?»

Но тот смущенно промолчал. Очевидно, он впервые услышал эту фамилию. Наверное, мои чувства отразились на лице, потому что смущенного господина перехватил другой, менее строгий сотрудник, и вскоре удовлетворенный чиновник уже уходил из отдела со стопкой массовой фантастики.

Работа в библиотеке для меня постепенно превращалась в рутину — все больше требовалось что-то таскать, расставлять, перекладывать, словно я был разнорабочим, а не человеком с высшим образованием.

Старший коллега, когда я рассказал ему о своих настроениях, пытался утешить меня трюизмами о том, что работа — это смысл человеческой жизни. Без рутинного, зачастую низкооплачиваемого труда на дорогах встанут трамваи, с магазинных полок исчезнут товары, улицы зарастут грязью и пылью, а жизнь людей превратится в хаос и борьбу за выживание.

Но в нашей работе я замечал много такого, что, казалось, не имело никакого смысла. Приезжал, например, губернатор — и библиотека вставала на дыбы. Все передвигали стулья, диваны, стеллажи, из подвала доставали ненужные раньше панели, чтобы с уходом губернатора вернуть их обратно. Все приводилось в такой вид, словно бы, оказавшись здесь, губернатор должен был увидеть не здоровую рабочую обстановку, а вылизанный до блеска музей.

Да и в темпах работы, которые навязывались нам свыше, не было никакой высшей необходимости, как и пользы для людей. Они работали так, потому что знали: стоит только остановиться, перестать танцевать, кривляться и испытывать перегрузки в надежде привлечь людей, как им перекроют и этот скудный источник существования.

Вот и глядя на коллег, которые куда-то бегали, торопились, высматривали и спрашивали, я удивлялся: они действительно считали все это настолько важным? Ведь единственное, чем они занимались в последние годы, — выживали, скакали

и прыгали, забывая про реальные нужды читателей и пытаюсь доказать отвыкшему от книг обществу свою необходимость. Неужели этого было достаточно для того, чтобы избежать болезненных вечерних вопросов: кто ты и зачем прошел твой сегодняшний день?

Как-то заговорили о «летунах» — так увлекавшийся марксизмом коллега называл этим советским словом людей, часто меняющих место работы.

— Молодежь же как себя ведет, — говорил он, — отработали год, два — только их и видели!

— А что плохого? Если они нашли что-то подходящее для себя?

— Вот в том и дело, что все думают только про себя и никто — о деле, которому служат.

— Ну в другом месте будут служить, другому делу за другие деньги. Какая разница?

— Разница большая! На такого сотрудника ни в чем нельзя полагаться, потому что сегодня он здесь, завтра — там. А где, спрашивается, верность организации, осознание того, что на создание рабочего места ушли время и силы?

— Ну а если человек больше не чувствует в себе сил работать на этом месте? Он же будет неэффективен! — я не сдавался.

— Это же личные проблемы человека, а не работодателя! Значит, надо поработать над собой, разобраться, в чем причина. Вы представьте, что будет твориться, если мы, чуть что-то не понравилось, сразу будем искать, где получше? Хаос начнется, а не работа.

— Вообще-то так все и делают...

— В СССР не делали!

Усмешка коснулась моих губ.

— А как же профессиональное развитие, наконец? — не замолкал коллега.

— То, чем мы тут занимаемся, можно за месяц освоить. Тыкаем кнопки, танцуем да книжки выдаем.

— Извините, — коллега аж приподнялся, — а как же люди? Неужели вы до сих пор не понимаете, что наша главная работа — это люди! Мы учимся взаимодействовать с коллективом, наконец, с людьми, ради которых работаем. Не сердиться на них, как вы это делаете, не ругаться, а взаимодействовать. И постоянно напоминать себе, что вы сидите здесь не для того, чтобы «выдавать книжки», а чтобы помогать людям!

— Давайте посмотрим правде в глаза, — ответил я с неожиданной злобой. — Людям не нужна наша помощь. Они приходят сюда, потому что мы завлекаем их всякими посторонними услугами, не имеющими отношения к библиотеке. И как только мы перестанем плясать, прыгать, скакать и брать на себя функции более востребованных социальных институтов, о нас тут же забудут. Мы все это прекрасно понимаем, но продолжаем бороться, упрямствовать. Продолжаем внушать себе, что занимаемся чем-то важным. Но ради чего? Ради наших копеечных рабочих мест? И только-то? Тогда почему мы цепляемся за эту работу так, как будто не сможем найти другую? Может, вместо того, чтобы унижаться, просто уйти работать туда, где людям действительно нужно?

— Вы меня не слышите, — покачал головой коллега.

— Это вы меня не слышите! — не сдержался я. — Почему же вы сами тогда ушли из другой библиотеки? Развивались бы там, профессионализма набирались! Или помочь людям можно только здесь?

Повисла пауза, после которой коллега хотел что-то сказать, но вошедший в служебную комнату другой сотрудник прервал разговор. К тому же мне пора было садиться на обслуживание.

К разговору больше не возвращались. Я в чем-то понимал коллегу. Но зачем, но ради чего, чем так важна эта работа, чтобы ради нее мучить себя, идти на жертвы? Лишаться возможных

перспектив? Я знал: стоит уйти в другое место, как уже через день обо мне никто и не вспомнит. А мое место тут же займет кто-нибудь другой.

Так какого же черта я так боюсь потерять это насиженное место?

Как-то один умный и вкрадчивый пожилой читатель — ко-сынка на шее, кашемировый свитер, тонкие фиолетовые очки, сияющий холеный череп — посоветовал мне «тихо и по возможности работать на себя» — находить в рабочем процессе способы решать свои задачи.

— Извлекайте мед, — с тонким смешком сказал он, когда я раздраженно, почти с ненавистью ответил коллеге по телефону, что не буду прибивать какую-то планку (сама прибивай, какого черта, делай что хочешь, мне все равно!). — В каждом противном деле есть своя капля меда. Свой витамин, если угодно. Полезная вытяжка. Надо просто уметь ее извлекать.

И добавил, тонко улыбнувшись:

— Простите за непрошенный совет.

Он вернул первый том мемуаров Фаддея Булгарина и заказал второй. Я знаю, что за жизнь была у Булгарина — плутовской роман, восторг, не оторваться... Советы читателя тоже показались мне плутоватыми.

— Я же все-таки пришел сюда работать, — сухо отозвался я.

Человек поморщился и замахал руками, давая понять, что такая твердолобость равна узколобости.

— Вне сомнений! — горячо, даже вдохновенно сказал он. — Сугубо для пользы общества! Вы сокрушительно правы!

Однажды вечером я заметил, что в рабочем расписании на следующий день отсутствовала вторая смена — это означало, что кому-то из сотрудников, пришедших к девяти утра, придется работать до позднего вечера. В последнее время из-за обилия дел Татьяна Ивановна часто допускала ошибки

в расписании, и теперь, заметив неточность, я решил сообщить ей об этом.

— Честно: по барабану! — веселым молодым голосом ответила Татьяна Ивановна. — Я завтра увольняюсь, а вы что хотите, то и делайте.

Ответ пригвоздил меня к полу.

Я знал Татьяну Ивановну как профессионального и выдержанного сотрудника, воспринимавшего многочисленные неприятности рабочего процесса как неизбежное зло. Татьяна Ивановна тратила много сил, чтобы привить и нам это понимание, но теперь выяснялось, что происходящее в библиотеке было болезненным и для нее.

Не зная, что ответить, я постоял полминуты в тишине, затем попрощался и вышел, решив самостоятельно выйти завтра во вторую смену...

Раз сдалась и эта последняя крепость, значит, в библиотеке происходило и правда что-то из ряда вон выходящее.

11

Дома я засел за книгу, к которой не прикасался уже почти месяц.

Что-то, конечно же, писалось. Но во всем написанном постепенно все явственнее проступала одна безликакая литературная личность, которая очень хотела кем-то казаться и потому безнадежно терялась в чередке других таких же подражателей.

Временами чудилось, в голове рождалось что-то ценное, но когда, переделав дневные дела, я наконец садился за письменный стол — оставались лишь неясные, ни на что не годные тени.

В дни затиший, когда читателей было совсем немного, я пробовал писать и в библиотеке. Пытаясь настроиться на рабочий лад, я прогуливался меж стеллажами. Всякий раз, оказываясь среди мрачноватых книжных рядов, я испытывал

глубокое, плохо поддающееся словам чувство, похожее на то, которое охватывает человека, оказавшегося под темными, бесконечными сводами дикого леса. Я словно бродил в хвойном зеленоватом полумраке вековых сосен. Спрессованные хранилища лучших человеческих мыслей, книги на полках надменно молчали. Повесить на эти древние тяжелые ветви мироздания свой маленький, освещающий пару метров фонарь...

Иногда я слышал рядом шаги других смельчаков, которые, как и я, прокладывали свой путь среди кем-то прорубленных лужаек и тропок, проходя мимо полок, где раньше стояли физика, химия, биология, а теперь были комиксы.

Размышляя, я подходил к полкам, к тому месту, где, согласно библиографическому коду, должна была стоять моя книга.

Там все еще была пустота — просвет, как будто подготовленный специально для меня.

Но я и сам был пустота. Удивительно ли, что роман никак не хотел встраиваться в эту вселенскую систему, занимать свое место на полке.

Для начала он не хотел рождаться.

За время работы над книгой я хорошо изучил биографию Сквородникова — все эти дни я отыскивал каждую посвященную ему строчку.

Нужно было нечто, что вдохнуло бы в разрозненные абзацы и записки жизнь... Что дало бы ей смысл и ту пищу, что заставляла бы людей к ней возвращаться снова и снова.

Книги... они окружали меня почти всю мою жизнь, но, чтобы написать свою, требовалось нечто большее, чем то, что они могли дать. И потому момент, когда книга с моей фамилией займет свое место в алфавитной ДНК, никак не наступал.

Сплетаясь друг с другом, вступая в сложные связи, они были почти так же гармоничны, как и читавшая над ними вселенная. Казалось, они создавали свою вселенную, почти такую же

величественную и стройную, как и та, что состояла из небесных тел и звезд.

Она, эта вселенная, давала ответы на все вопросы — кроме одного, самого важного: как закончить книгу? И, наконец, перейти в разряд тех, чья личность, застыв в томах, живет на полках?

Видимо, требовалась какая-то иная, третья субстанция, которой не могли дать ни книги, ни хорошее знание материала.

Яков Константинович отчаянно сопротивлялся. Он не хотел быть моим героем.

ЧАСТЬ III

**ПРОСТО БЛАГОСЛОВЕННЫЕ
ДНИ**

Наступала весна — уже пятая с момента моего прихода в библиотеку. В воздухе снова запахло переменами и надеждой.

Я вышел на улицу. С карнизов на железные шлагбаумы гулко падала капель. Собирались митинги за все хорошее против всего плохого. Митинги собирались выдвигать господина Н., умеренного правого оппозиционера — барыгу средней руки, создателя новой то ли региональной, то ли федеральной (мне лень было даже вникать) партии, — выдвигать то ли в президенты, то ли в губернаторы, то ли просто объявить его народным любимцем и надеждой сибиряков, потому что сибиряки этого до сих пор не знали.

Проникнувшись стоящим в атмосфере революционным настроением, Максим ходил по библиотеке радостным и возбужденным, навязчиво делясь с работниками прочитанным в новостях...

— В понедельник митинг за надежду региона... за надежду митинг... — провозглашал Максим, радуясь непонятно чему.

— Тащи, тащи, — понукали Максима, когда он делился с ними прочитанной новостью.

Страницы людей в Сети ощетинились грозными ожиданиями перемен. Несколько друзей прислали мне приглашение на митинг, но я не пошел, сославшись на работу.

В тот день, оказавшись в библиотеке, я сразу почувствовал: что-то не то. Суховато поздоровался коллега, все в отделе казались молчаливыми, черствыми и как-то подозрительно прекращали разговоры, когда я заходил в комнату. Такое за годы моей работы было уже не раз, и потому вряд ли я ошибался.

Пытаясь понять, в чем дело, я припоминал свои недавние грехи — бывало, что я отправлял читателя в справочный зал,

хотя сам мог поискать книги в электронной базе, ну и все. Словом, ничего серьезного не смог припомнить.

Наконец, в кабинете появилась начальница и подчеркнуто вежливо пригласила меня в кабинет. Там сообщила: в пятницу (то есть вчера) на «Флампе» появился отрицательный отзыв о библиотеке, который касается работы нашего отдела. Согласно отзыву гипотетического читателя, некий «молодой человек», работающий в отделе художественной литературы, отсутствовал на рабочем месте целый час, а когда пришел, то вел себя вызывающе — дерзко разговаривал и в конце концов обозвал читательницу грубым словом. К сведению, автор отзыва — женщина, которая в одиночестве воспитывает сына-инвалида, и лишний стресс ей не нужен.

На тот момент я был единственным «молодым человеком» в отделе, так что тень преступления автоматически ложилась на меня.

Припоминая свои недавние грехи, я не смог вспомнить случая, чтобы с кем-то грубо разговаривал или откровенно обзывался.

И все же кое-что я вспомнил.

Две или три недели назад у меня случился неприятный разговор с одной читательницей. В тот день из-за ошибки в расписании я остался один в отделе, и при этом надо было развешивать картины в холле третьего этажа — на следующий день планировалось открытие громкой выставки.

Выставка посвящалась детям в церкви. Испуганно глядя по сторонам и обороняя светлый ручеек слезы, дети стояли среди икон, и в глазах их отсвечивало мягкое пламя свечей.

На одной из картин — девочка десяти-одиннадцати лет с обескровленным и неподвижным лицом, повязанная бабушкиным платочком, задумчиво стояла перед иконой. Лицо ее, изрытое тенями и болезненно отстраненное, напоминало лик Богородицы с иконы, которой молилась девочка.

Я часто видел таких «послушниц» в библиотеке и потому, как мне казалось, мог представить их дальнейшую жизнь. Став взрослыми, они говорили очень тихо, почти не задавали вопросов, смотрели больше внутрь себя, чем на собеседника. А постарев, подобные девочки превращались в невыносимых воинственных старух, что везде и ото всех требовали выполнения церковных правил.

Судя по тому, как называлась картина с девочкой («Блаженны те, на чьем лице отпечатался лик Божий»), автор выставки видел в этом преждевременно усталом лице вершины духа. Я же видел несчастного и замученного ребенка.

В тот день мы с напарницей развешивали картины до половины девятого вечера. Повесив очередную картину, я бегал в отдел проверять обстановку.

Один раз меня в зале ждала читательница, которую я часто видел в библиотеке. Насколько я знал, у нее был уже пожилой и психически нездоровый сын. Он заставлял ее подбирать книги строго определенного издательства, года и размера. Всякий раз, когда она звонила в библиотеку, в трубке было слышно, как он грубо кричал на мать, если та говорила что-то не то. Предчувствуя проблемы, я подошел к женщине.

— Где вы так долго ходите? Я вот пожалуюсь на вас.

У женщины был неприятный высокий голос, и после первой же фразы я почувствовал, как у меня внутри все закипает. Книга, как всегда, требовалась определенного года, издательства, размера. К счастью, необходимое издание нашлось.

— Это не та книга, — холодно сказала женщина, когда я принес заказ.

— Почему?

— Она не того цвета.

— Ну, извините... — я почувствовал, что не справляюсь с нервами, — это именно та книга, которую вы заказывали! Какая разница, какого она цвета?

— Я вам уже рассказывала: у меня больной сын, он не может держать в руках тяжелые книги, да и вообще... тут мелкий шрифт.

Едва сдерживая раздражение, я пошел искать другие издания. Я приносил книги с полок, заказывал из книгохранения, но всякий раз оказывалось «не то издательство», «не тот вес».

— Я точно пожалуюсь, — подбадривала женщина, но другой книги в зале никак не находилось.

Наконец, приунывшая читательница отошла за стеллажи — сверкая толстыми стеклами очков, она оправдывалась по телефону перед домашним деспотом за каждую ненайденную книгу, а я, ожидая, когда женщина уйдет, нетерпеливо поглядывал на часы — надо было заканчивать с выставкой.

Я собирался уже идти развешивать картины, как вдруг у кафедры снова появилась она.

— Придется вам еще помучиться, молодой человек...

— Книг нужного вам цвета в библиотеке нет, — отрезал я.

Она смотрела на меня круглыми, спрятанными на дне толстых стекол глазками. Белыми кудряшками была похожа на овечку — старую, потерявшуюся.

— Это вы так людям помогаете?

— Простите, но я библиотекарь, а не пси... холог.

— А зря, — вздернув короткий носик, женщина пошла прочь. — Дай бог вам таких же помощников.

Едва она скрылась за дверями, я побежал довешивать картины.

Об этом, умолчав про некоторые детали, я и рассказал. Начальница смотрела на меня понимающими глазами, но сделать ничего не могла — предстоял поход к директору.

Предчувствуя неприятный разговор, я поплелся на третий этаж, где располагался главный кабинет библиотеки.

Секретарь просила меня подождать в приемной — у директора был важный разговор.

Дверь была закрыта неплотно, и я слышал некоторые его подробности.

— Да, да, Наталья Васильевна, все будет сделано к сроку.

В приемной, когда бы я туда ни заходил, всегда ощущалось присутствие директора.

Малейший признак жизнедеятельности в директорском кабинете — и сотрудники становились похожи на воспитателей во время сон-часа: старались неслышно двигаться, не греметь стульями и говорили подчеркнуто учтивым тоном — едва ли не полупшепотом — и цыкали друг на друга. Я проникался царящим здесь благоговением — старался, чтобы стул подо мной не трещал, а дыхание было как можно полнее и тише.

Пока я сидел, в приемную со стопкой книг вошел библиотекарь.

— Вот вам... — начал сотрудник, но секретарь вытаращила глаза и сердито помотала пальцем — там, за стеной, шел важный разговор.

Покосившись на дверь директорского кабинета, сотрудник быстро вышел.

Наконец, настала пора заходить. Набрав воздуха в легкие, я переступил порог главного кабинета библиотеки...

Через несколько жарких и невыносимых минут, наполненных терзанием карманов брюк и собственных пальцев, я плелся обратно в отдел.

Конечно же, разговор был о той читательнице с больным и деспотичным сыном.

Голос директора окреп, звучал уже не так, как несколько минут назад — в разговоре с неизвестным мне начальником, живущим в телефонной трубке.

Меня упрекали в невыдержанности, в неумении работать с трудными клиентами: «А ведь мы так много учимся, проходим столько тренингов в год!» Но вместо лояльности к читателю — грубость и раздражение.

«А кто-нибудь из читателей собирается быть со мной лояльным?» — чуть не спросил я у директора.

Но не спросил.

Готовясь к встрече, я едва ли не заучивал эти слова, но в решающий момент они, булькнув, так и застряли в горле — перед строгим монолитным директором я ощущал себя дырявой, колышущейся на ветру простынкой.

В общем, на первый раз я отделался предупреждением, но каким...

Вернувшись в отдел, я сел на кафедру и стал обдумывать случившееся.

— Хэй! — кто-то, незаметно подкравшись к кафедре, прервал мои размышления.

Я посмотрел исподлобья — меньше всего мне хотелось сейчас с кем-то разговаривать. Но над кафедрой, осветляя зал улыбкой, стоял Юра Чудаков.

2

Я узнал его, несмотря на темные очки и не по сезону знойную рубаху с зелеными силуэтами пальм.

Юра приподнял очки на лоб.

— А я тут возвращаюсь — думаю, дай загляну. Почему, кстати, не на митинге?

— Работаем, как видишь..

— Вижу я, как вы работаете, ёпт... Вместо того чтобы решать судьбу страны... А это кто? — оживился Юра, увидев, как в служебную комнату прошмыгнула сотрудница.

— Оля, новая сотрудница.

— И зачем вам столько людей в отделе? Один сидит, другой чего-то ходит. Раз сам не хочешь — отпустил бы напарницу на митинг.

— Я один не справлюсь...

— С чем? Я как ни зайду — посетителей ноль.

— Ну, уже не ноль, — я указал взглядом на Юрку, — а кроме живого обслуживания есть звонки, удаленные заказы, проекты и мероприятия. Задания руководства, наконец.

Юра покивал с серьезной гримасой:

— Да-да, знаю я, как вы тут «страдаете». Разве что от безделья.

Беседа в таком ключе мне не нравилась, да и разговор с кем-либо сейчас вращался на самой дальней орбите моих мыслей, но Юрка сам прервал наступившее молчание:

— Зацени — «Дольче Габбана»... Тридцать семь косарей! — Он снял очки и показал мне их дужки, там поблескивали шарнирные суставчики. — Хоть так их гни, хоть эдак...

— Ничего себе, — удивился я, — и где же ты работаешь?

— Дружище, мне не нужно работать. В смысле служить. Вот, смотри, как это делается в цивилизованном мире.

Юрка достал из кармана телефон, надавил на иконку какого-то приложения, и на экране с завидной скоростью (мой «Самсунг» в такие моменты обычно крепко задумывался) всплыли загадочные кривые, гиперболы и графики.

— Ну-ка, что тут у нас, — Юра по-деловому прищурился, — два месяца уже не заглядывал. За телефон ентот, кстати, шестьдесят штук отдал. Хотел айфон, но новый еще не вышел, а старый — нет смысла брать.

На экране телефона я увидел список акций, напротив которых красовались зеленые плюсы либо красные минусы. Колеблясь, они создавали прекрасный график, на котором, словно кардиограмма чьего-то страстного сердца, колебались красные и зеленые ниточки убытков и доходов.

— Видал — плюс двести косарей за два месяца. Ну вот и скажи, зачем мне работать?

— Откуда ты их взял? — вырвалось у меня, но Юра не обиделся.

— Хату мою помнишь? Продал! И вложился в разные акции — «Газпром», «Норникель», американских авиалиний немало прикупил...

— А как ты без квартиры теперь?

— Я в бабушкиной живу... Наследство же.

— Везет... А я вот, как видишь...

— А я не знаю, почему ты тут до сих пор. Давно говорил тебе — бросай этот голимый совок! Грузчик, ёпта. Скоро будешь унитаза мыть голыми руками, Максим номер два. А мог бы, а мог бы... Как Сорокин.

Не мог бы, подумал я, ни как Сорокин, ни как Пелевин, ни как я сам. Я не мог бы. Юрка смотрел на меня покровительственно, снисходительно, как на способного троечника.

Я перевел тему:

— Памятник-то бабушке поставил?

— Забабахал, а не поставил! Мраморный, с гравированным фото... Столик приделали, лавочку — все дела...

— И как... полегчало?

— Как тебе сказать... Однажды слышу какой-то шум на кухне, прихожу — а на плите кипит огромная кастрюля. Бабушка в ней обычно варила супы... Я ее не то что не ставил — даже не в доме находился...

— Ничего себе...

— То-то и оно.

Юрка облокотился на кафедру.

— Но я тут другое открыл на днях... Пытаюсь понять, как угомонить бабушкин призрак, почитал, что наука о загробной жизни пишет.

— И что?

Юрка огляделся и продолжил:

— Так вот. Рай, оказывается, — это совсем не то, что говорят нам эти, в рясах. И длится он всего три минуты...

— Почему именно три?

— Ну... столько живет мозг после остановки сердца. И вот за эти три минуты нужно успеть увидеть всех, кого любил и потерял при жизни.

— Ну-ка, подробней...

— Вот представь: ты призывник и твою часть перебрасывают на поезде. Поезд останавливается в твоём родном городе, а на перроне тебя встречают живые родители, бабушки, дедушки, друзья и все те, кого ты любил и очень давно не видел. Все радостные, все тебя обнимают, о чём-то спрашивают. Вот только времени у вас всего три минуты...

— А потом?

— А потом суровые командиры вечности снова сажают тебя в поезд, состав трогается — и дружно улетает под откос. Ты, перрон с родными — все навсегда исчезает в смерти... Смерть, как я теперь вижу, во многом лучше жизни, — продолжил Юра, — но эти заключительные три минуты... ради них ещё стоит потянуть кота за яйца, понимаешь?

— Наверное, — буркнул я.

— Такие, брат, дела. Ну давай, счастливо оставаться! — Юрка протянул мне руку. — И не застаивайся на перроне...

Свежим тропическим пятном он дошел до конца зала и, прежде чем уйти, светло, как-то лирически улыбнулся и помахал мне рукой. Я же остался в зале.

Почему-то вспомнился наш разговор, произошедший полтора года назад, когда Юра только собирался увольняться.

«Дурак. Вот же дурак», — завопил я про себя, схватившись за голову.

Не в силах больше находиться за надоевшей кафедрой, я встал и без всякого разрешения пошел из зала. За плечом в который раз противно затрещивал телефон — видимо, хотели продлить книгу или что-то еще, но мне было уже все равно.

В читальном зале, куда я поднялся, было тихо и пустынно — откуда-то из центра долетали приглушенные расстоянием

крики толпы. В бледных сумерках дня, склонившись над столом, в зале сидел Максим и читал по слогам какую-то брошюрку.

Я присел к нему за стол. Несколько минут мы листали старые пахучие газеты, и обрадованный вниманию Максим с увлечением комментировал колонки статей.

Мне всегда было интересно: куда проваливаются все эти знания в голове у Максима? В каких чуланах и сундуках хранятся? Лежат ли там мертвым грузом или незаметно для всех организуют картину мира, систему ценностей — более сложную, более изощренную, чем все мы думали?

Искося поглядывая на Максима, я думал о том, как где-то (может быть, в параллельной вселенной) обязательно живет сильный и умственно здоровый Максим. Чтобы, как большинство мужчин, ходить на службу, во время обеда хмуро поглядывать на суетившуюся рядом жену и время от времени строжиться на расшалившихся детишек.

— Почитай мне что-нибудь вслух, — попросил я его, и тот с радостью задвигал пальцем по странице: «...по какой ошибке природы те, кто обычно имеет в своем сердце силы, простите меня, тупы как пень? Как головешка? Лишены внутри себя нравственного закона, имеют все средства для исполнения своих целей, а те, кто...»

— Позволь, — я взял книгу и посмотрел на обложку.

3

И в ту же секунду меня словно ошпарило кипятком: Яков Сквородников. «Сожженные письма, или Послания из небесной канцелярии». 1996.

Оно.

Та самая книга, за которой я гонялся больше года, лежала перед моим носом.

«Тема личности, смею сказать, благородной, верной отечеству, попавшей в жернова системы лишь потому, что оказалась рядом, еще ждет своего осмысления. Как это еще будет осмыслено нашими потомками?»

Максим молчал рядом как рыба — вот кто все это время был тем недобросовестным читателем!

— Тоже мне... Максим Аскольдович.

Никто в библиотеке не называл Максима по отчеству.

Потому я даже не сообразил, что человек, который раньше меня завладел этой драгоценной книгой, — я встречаюсь с ним регулярно, он каждый день у меня перед глазами.

Мало ли Максимов среди читателей?

Максим уже дочитывал.

— Максим, прошу, верни в начало!

Послушавшись, Максим перелистнул, и я, словно голодный... заскользил взглядом по строчкам.

Вот ты ушла, а я остался.

Руки мои тянутся туда, где мгновение назад была ты, обнимают пустоту, а губы, на которых, кажется, еще жив след вчерашнего поцелуя, касаются лишь воздуха.

Свидимся ли мы еще, родная? Свидимся ли?

Оглянувшись, ты сделала движение ко мне, но конвойный удержал тебя.

Но я стою, и руки мои бессильны...

Господи, как я мог отпустить тебя?!

Как мог позволить увести? Как мог не броситься следом — под пули, под волны?

И все равно, от чего бы смерть...

В пустой камере на кровати — оставленная тобой складочка на одеяле.

Берегу ее как драгоценную реликвию...

Несколько часов — только унылый плеск волн.

Вдруг, что-то вспомнив, я кидаясь к высокому узкому окну, пытаюсь в него заглянуть и увидеть в море хотя бы маленькую точку.

Опоздал...

Опоздал, увя...

Вспоминаю благословенные дни...

Когда я, расстроенный (мало сделал), возвращался из Наркомпроса и, подходя к дому, вдруг замечал теплый кисейный свет, льющийся из окон нашего флигелька. Свет, в котором плакала маленькая Катенька, а ты, успокаивая ее, одновременно хлопотала на кухне.

Лишь этот свет, свет окон дома, где твоя семья, — вот чем надо жить!

А наутро... снова громада дел.

Громада, в которой растворяются все вечерние мысли.

Помню, моя дорогая, как терпеливо ты сносила все тяготы нашей жизни — трудной, насыщенной делами, но очень скромной. Как, тихо постояв рядом со мной, деятельным и не способным отвлечься, тихо уходила в комнату.

Занят, занят.

Дела, дела...

Знала бы ты, как я любил тебя в тот момент, как едва сдерживал себя, чтобы не умчаться в комнату за тобой, чтобы не расцеловать тебя, бросив все на свете...

Дела, дела, гори они синим огнем!

ЧАСТЬ III. ПРОСТО БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ДНИ

Лишь только в эти десять дней, по-настоящему счастливых, кажется, успел я сделать (действительно что-то важное) больше, чем за всю свою беспокойную, суетливую жизнь.

И вновь, одержимый, кидаюсь к окну с морем...

* * *

Унылая стена, бледный, словно чахоточный (чем-то больной), день, печальный бег волн и все еще сохранившаяся складочка на одеяле...

Свидимся ли еще когда? Свидимся ли?

* * *

Помню тот последний разговор перед разлукой.

Когда я засобирался в Сибирь, чтобы возглавить работу...

Я ощущал редкую возможность оставить яркий след в изучении моей родной, мало кем понятой, небрежно и фрагментарно описанной Сибири.

Ты, естественно, была против. Три девочки, недостаток средств, мы жили на грани нужды... Я сам ощущал двусмысленность, неправомерность своего поступка, но мама... еще оставалась живая на тот момент матушка...

А отцом, отвечала ты, когда подрастет, тоже будешь считать матушку? Не лучше ли остаться здесь, на надежной должности, и не бросать семью?

К чему эта Сибирь, продолжала ты, или здесь, в Москве, мало просторов для краеведения и географии, мало возможности приложить свои силы?

Я молчал.

Все было верно.

Но ты ведь знаешь...

Дело моей жизни всегда виделось мне некой громадой, которую, в одиночестве или с кем-то, необходимо сдвинуть.

Уж если не сдвинуть, то расшатать под ней камни, сделать хотя бы несколько насечек, взобравшись по которым следующие поколения увидят уже дальше и шире.

И вот участие в создании и было для меня возможностью оставить несколько таких глубоких зарубок, с которых начнется культурная, свободная жизнь Сибири...

Таково было мое предназначение.

И в тот момент, стоя перед заплаканной тобой, сожалея всем сердцем, уже знал — поеду.

Поеду непременно. Я сказал, что иду на службу, а сам, с тяжёлым сердцем, уверенный, что предаю тебя, семью, покинул Москву.

Надеюсь, этот неловкий и нерешительный любитель книжек, ставший твоей судьбою, хоть в какой-то мере был таким же.

Леночка, родная!

Послушай-ка, чего я удумал. Я буду писать тебе письма — совсем не те, что я пишу обычно.

Эти письма будут другими... В них будет одна правда... столько правды, что ты едва ли выдержишь...

Письма, которые не уйдут дальше места моего заточения.

Так и застрянут здесь, на Правом острове.

Да и сам я едва ли решился бы их отправить — столько правды после всех свалившихся на нас испытаний ты вряд ли выдержишь.

Но имею ли я право писать тебе такие письма?

Смотрю на оставленный тобой портрет, вижу твои большие, утомленные тревогой и печалью глаза... Как устала ты без меня, как печальна...

И понимаю — не имею.

Разве могу я своими жалобами множить в них печали?

ЧАСТЬ III. ПРОСТО БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ДНИ

Ведь общение, пускай такое, — единственное, что у меня теперь осталось...

И это единственное, ради чего мне еще стоит жить... Иначе мне не прожить и дня.

* * *

Знаешь, Лена, с каких-то пор я верю, что все письма, написанные с искренним чувством, которые людям было важно получить друг от друга, сохраняются в небесной канцелярии. Где-то есть небесный архив, доступ у всех, кто друг друга любит... И все такие письма, несмотря на свою физическую судьбу, непременно оказываются там.

Написав, верю странной, горячей мальчишеской верой, что ты их обязательно прочтешь и перечтешь.

Пусть первым их прочтет огонь.

— Ну-ка, подожди, — придержал я Максима за руку.

Письмо первое.

Сожжено XXVII.IX.XXXI

...мало мне было несчастий...

Едва я оправился после встречи с тобой, как вот оно — новое испытание...

Это — последнее письмо из библиотеки: весь наш штат (всех нас) переводят обратно в колонну, в гам и тесноту.

Рядом все время чьи-то ноги, головы, локти.

Когда в последний раз я видел твою печальную фигурку, уходящую вдаль на фоне моря...

Но так устроен человек — замечает благо, лишь когда его теряет.

* * *

Леночка моя золотая!

В порыве чувств в прошлый раз даже забыл обмолвиться о том, что за случайность произошла.

А случилось вот что...

У нас был замечательный театральный вечер.

Деревянная сценка наша словно бы исчезала из поля зрения и, преобразенная силой игры артистов, становилась дворцом, лесом и всем, что пожелала фантазия впечатленного зрителя.

С неказистой сценки зрелища очищающие душу страсти, а заключение и все наши тяготы как бы отступали на второй план, становились неважными, проходящими. Вдохновленные искусством, лица заключенных светились каким-то внутренним светом и, преобразаясь, переставали походить на лица убийцы, преступников, рецидивистов, становясь лицами ученых, поэтов, артистов.

Я не мог отвести глаз.

Пораженный замечательной сценой, я оглянулся в зрительский зал, надеясь увидеть на лицах людей те же чувства...

Среди других светящихся лиц было одно — непроницаемое и строгое лицо.

Выражение лица было таким, как будто ее оторвали от важных дел на пустяки.

Твердый рот, прищуренные глаза, как бы искренне не понимающие, чем восторгаются все эти люди, собравшиеся перед горсткой арестантов. Чего-то хлопают, рукоплещут.

Твердо сжатый, слегка высокомерный рот.

И вдруг глаза ее ответили, среагировали на мой взгляд.

Я поспешил отвернуться.

Лицо это запало мне в душу.

А вскоре после концерта прежний начальник КВЧ — человек почти не образованный, но ценящий искусство — был отстранен от своей должности. Его место занял другой, суровый и грубый.

А тот, в свою очередь, назначил библиотеке новую заведующую.

Это была та самая строгая женщина с непроницаемым лицом.

Как мы вскоре узнали, бывшая чекистка.

На посту она позволила себе мелкое хищение (интересно, чего), за что была осуждена на пять лет. Сама она говорила кому-то, что

посадил ее бывший муж, натуральный Отелло, за связь с каким-то прощелыгой-снабженцем, уже после развода застукав их в Крыму. Взошли, представьте, на Ай-Петри, слились в упоительном поцелуе, открывает глаза — стоит муж. Ничего не сказал, развернулся, ушел. А потом как все покатилося с горки... При этом любовника она презирала, что с ним стало — знать не хотела, зато о муже отзывалась с большим уважением.

Так вот Кули... кова, Бер-кутова — эта безликая птичья фамилия никак не может осесть в моей памяти, — Соколова, вспомнил! И вот такой человек, вообрази себе, приставлен руководить библиотекой...

С первых дней ее работы я понял, что она мечтает расформировать библиотеку и занять нас другими работами.

В первый же день, едва она появилась в наших покоях, где проживал персонал библиотеки, состоялся примечательный разговор.

Осмотрев наши куцые книжные полочки, она сообщила, что в библиотеке много книг «неподходящего содержания», которое будет вредить перековке заключенных. В качестве примера она взяла в руки томик Флобера и сказала, что в данной книге изображена буржуазная личность, и вообще, поэтизируется... что-то поэтизируется, кажется, паразитизм на шее трудового народа. Я ответил, что тон сочинения противоречит ее выводам — переживая вместе с мадам Бовари душевные мучения, читатель испытывает скорее отторжение, чем тягу, — но ее это не убедило.

А ведь она красивая женщина (прости, прости, я это пишу исключительно из любви к объективности и обстоятельности).

Споры спорами, но делать нечего — подтрунивая друг над другом, мы приступили к выбраковке.

Я, однако, не смирился. Я напомнил товарищу Дроздовой, что чистка библиотек была признана перегибом на местах, и с 1932 года изымать книги можно было исключительно по решению Главлита. Роковой 1929-й с его минпросовским циркуляром о чистке библиотек до сих пор стоит у меня перед глазами как пример чудовищной

распущенности, триумф небывалого в истории хамства — они собирались изъять 80 процентов всех фондов массовых библиотек (рассказывали, что Надежда Константиновна безуспешно боролась с этими подонками из культделов АППО¹, которые по требованию профсоюзов составили «списки книг с мещанским уклоном»). Но кто такая вдова Ленина, чтобы они ее слушали! Помнишь, Лена, эти страшные дни, когда из нашей библиотеки изымали Данте, Спенсера, Леонида Андреева (ну это уж само собой), Декарта, Бунина, Лескова и Гончарова! Я уже не говорю про Коран, Библию и Ницше. Песни Заратустры именно потому мещанство, что какая-нибудь Софья Петровна из профсоюза — прогресс и свободная мысль!

Я даже — экая, мекая и неутомимо извиняясь — припомнил постановление Коллегии НКП «О просмотре книжного состава библиотек», где вся эта вакханалия чисток признавалась ошибками и извращениями в результате и приказывалось «немедленно прекратить массовое изъятие книг из библиотек».

Щеглова не сразу нашлась с ответом мне. Она медленно закурила, в больших глазах ее, отороченных густыми ресницами (у нее красивые мохнатые глаза), как мне показалось, сверкнул не отблеск спички, но адское пламя ненависти. Буду ли я жаловаться на ее самоуправство? Выслушает ли меня тов. Мокейченко? Бесполезная ли вошь я или вошь кусачая?

— Помолчи, — медленно, тяжело сказала она. — Делай, как я говорю.

И выпустила дым мне в лицо.

Когда она ушла, мы перепроверили весь фонд, сопровождая тусклыми шутками свою невеселую, бессмысленную работу.

— Как считаете, Яков Константинович, «Мать» Горького достаточно благонадежна? Все-таки там весьма откровенные подробности...

¹ Отдел агитации, пропаганды и печати при ЦК ВКПб.

К концу работы у дверей библиотеки скопилась груда книг. Фонд после нашей очистительной работы выглядел куцым, объединенным. Кондорова зашла еще раз, с беспристрастным видом обошла все полки и подбросила в общую гряду еще несколько книг.

Среди выкинутых ею книг я заметил любимого И. В. Сталиным Золя!

В другой раз, застав нас за неспешным разговором, Беркутова, осмотрев наши куцые полочки, сказала, что для такого количества работ четыре (вернее, три с половиной — я не в счет) молодых здоровых работника — большая роскошь. При текущем уровне работ вполне можно обойтись одним-двумя.

На эти слова я ответил, что, помимо работы с описанием новых фондов, есть еще работа и по организации «выдвиженок» — небольшие книжные обозы для всех лагпунктов. Не говоря уже о выдаче литературы заключенным и теснейшем взаимодействии с культурно-просветительской частью.

Сверкнув глазами, Ястребова ушла, но уже на следующий день к нам явились... и забрали Гришу и... двух наших самых толковых работников, мною обученных всем азам библиотечной работы, а вместо них приставили одного — юного уголовника Пашу, который толком не знал алфавит. С ним мы вечно запаздывали с «передвиженками» и другой текучкой.

И напрасно я говорил о том, что при таком режиме сократится периодичность отправки обозов в другие пункты, что это придется не по душе заведующим других библиотечных пунктов, которые, в отличие... тут я промолчал. Сначала нам запретили ночевать в библиотеке, а затем нас и вовсе перевели обратно, в колонну.

В библиотеке теперь нам дозволялось только работать.

Невзлюбила она лично меня, или отчего-то всей душой ненавидя культуру...

С тревожным сердцем я вглядываюсь в будущее.

*Письмо пятое.
Сожжено такого-то*

Теперь основное время работы — мету двор, а уж в оставшееся — занимаюсь книжками.

В начале прошлого месяца положение наше изменилось. Острова подпадают под ведомство тюремного управления. Все кадры теперь — обычные ээки и подлежат тяжелым физическим работам.

Эта ужасная женщина... не выходит у меня из головы.

Кондорова пришла... В отличие от безграмотного неотесанного Пендурина, она всегда изъяснялась вежливо, с какой-то деликатной вежливостью, спокойно, очень редко повышая голос, — как опытный столоначальник, как жандарм... Подчеркнуто спокойным, мелодичным голосом...

От того преступная суть ее слов становилась только очевиднее.

Собственная деятельность виделась ей в сплошных достоинствах: там — укомплектовано, там — подклеено... «Повысилась на 128 процентов производительность работников...» И так далее, и так далее.

На деле же... Набираясь смелости, я не раз ей говорил об устоявшихся правилах работы библиотеки, об особенной культуре взаимоотношений между книгой, читателем и работниками библиотечного фронта. Она смотрела на меня насмешливо, как на человека, который, утонув в своих книгах, лишь отдалился от истины. От истины, которая без всякого образования досталась ей даром...

Я тоже вслед за остальными переехал в колонну. Мой распорядок дня теперь выглядит необычно.

Утро — время, которое обычно тратил на книги, — теперь уходило на кухонные дела. Мою чаны, собираю мусор, иногда чищу картошку. Многие завидуют мне и считают это поощрением, а не наказанием.

Только часам к четырем я могу вернуться в библиотеку и выполнять свои привычные обязанности.

Признаюсь, я не хотел покидать библиотеку — этот осколок моего ремесла, в котором я мог исполнить хотя бы часть своего предназначения...

Единственное (то немногое), что сейчас удовлетворяет мои былые потребности, — это... составление географического указателя по островам, запечатление наиболее ценных памятников старины. Пытаясь хоть как-то употребить силы, которые в течение благословенных лет тратил на переводы с норвежского, финского и привычный мне круг библиотечных обязанностей, занят также художественной зарисовкой наиболее живописной застройки архипелага.

Надеюсь, хотя бы это мне удастся довести до ума?

Помню, был у нас замечательный дворник Николай — подметал брусчатку перед библиотекой. Он любил почитать, но все дурное, бульварщину с кинжалом в груди или сплошь милорда глупого, а я не терял надежду перевести его на Блока и почему-то Брюсова; мне мнилось, что именно Блок, которого я не очень-то и люблю, и Брюсов, понятный не каждой советской учительнице, как-то вдруг очаруют и выправят вкус Николая и дадут ему направление для нового чтения. Конечно, то была иллюзия, великая иллюзия.

Не раз мы с ним беседовали за работой, и как-то он сказал: «Вот как вы, Яков Константиныч, выметаете старую мусорную жизнь из трудящихся голов, так и я, выметая улицы от бытового бескультурья, подготавливаю плацдарм для будущих умственных преобразований народонаселения».

Слова его (этого простого мудрого человека) запомнились мне на всю жизнь.

Вот и я, как некогда мой Николай, мету дворик и пытаюсь искать успокоения в его простой и благородной мудрости.

Непротивление злу — моя единственная сейчас философия.

Единственное, что сейчас скрепляет мои силы.

А еще — я должен беречь мою жизнь для вас, мои дорогие. Ведь когда-то же кончится мое заключение...

Вы, как весенние ласточки, дарите мне силу и надежды.

*Письмо четвертое. Фрагмент.
Сожжено такого-то, такого-то...*

«...есть люди, которым доставляет наслаждение чувствовать власть над слабым».

Такой была эта наш новый заместитель по КВЧ. Такие по странной роковой ошибке природы обычно сильны. И уверены в том, что делают.

Какой ты смешной, Яша, скажешь ты, Леночка, ты ведь находишься не в пленительном санатории гор. Кисловодска с видом на гору Машук, а в месте исправительном, наполненном суровыми, простыми и малообразованными людьми, которые к тому же несправедливо убеждены в том, что ты «вредный элемент».

Помнишь, я рассказывал тебе про странноватого Прошку, над которым в семинарии у нас все время издевались?

На роль такого юродивого, похоже, эта женщина избрала меня.

У нас случались с ней пренеприятные разговоры, в которых я решил высказать все, что думаю. Я тихо спросил: зачем она это делает? Зачем вредит общему делу и собственной репутации?

В колонне больше нет концертов, поэтических вечеров и других культурных мероприятий. Ведь наравне с физическим трудом все это позволяет заключенному не падать духом, ослабляет нездоровые побуждения психической деятельности... В конце концов, это противоречит задаче перековки несознательных элементов...

Я спрашивал не у начальника КВЧ, а у нее, так как заметил их переглядывания и даже один раз слышал ее смех из-за двери начальника.

«Поработай-ка с вами, волками, — отвечала она, — сам завоешь».

Она смотрела на меня насмешливо, с почти не скрываемым превосходством, словно знала о жизни нечто такое, самое важное, чего никогда не узнаю я, книжный червь, со всеми своими книжками. Словно бы эти книжки только уводили меня от истин, которыми без всякого образования и обучения владела она.

«Распоряжение Сталина, — отвечала она, — ускорить выполнение...» У нас в колонне явный недостаток рук.

Ну тогда зачем же сокращать штат, зачем расформировывать библиотеку, вопрошал я.

Она смотрела на меня прекрасными немигающими глазами с меховой оторочкой...

Так смотрят женщины, огрубевшие от трудной жизни, многожды обманутые непорядочными возлюбленными и сожителями, растоптанные в самых высоких своих душеустремлениях и принявшие отчаянное решение больше не любить и жить простыми человеческими радостями — и даже нашедшие в этом своем положении странное утешение. Укрепившиеся в состоянии безнадежности и нелюбви, они обретают гармонию, тихую внутреннюю музыку...

Так ведет себя женщина, потерявшая надежду.

Но при такой красоте? При таких статях?

Эх, эта моя гадкая привычка всех оправдывать.

Трудности здесь ни при чем — сколько встречал я людей, прошедших войны и тюремное заключение, уязвленных бесчисленными множествами зла и несправедливости и тем не менее не растерявших это удивительное человеческое качество — способность любить...

Нет, Леночка, это не тяжелая жизнь, это не растерянная под градом обстоятельств способность видеть и обонять.

Словно однажды, перед какими-то невероятно трудными обстоятельствами, ей пришлось собрать всю внутреннюю мускулатуру... и с тех пор так ей и приходилось жить.

Жить в этом состоянии обостренной твердости.

Это сорт. Сорт человека — уж прости мне, дорогая, такое сравнение. Это человек из другого сорта глины.

А сорт — это деревянная форма, в которую когда-то было втиснуто еще не сформированное мягкое существо.

И с тех пор, годы спустя, существо держит эту форму.

С такими бесполезно вести разговоры, устраивать лекции...

Несмотря на то что я был лет на двадцать старше, я падал перед этой дамой. Ее взгляд буквально пробивал мне душу...

Мои привычные средства, словесные методы были бессильны перед ней. Я раб, я червь...

Но как же она была хороша!

И я не видел возможности пробиться за эту заслонку, за эти шоры, приобретенные ходом ее жизни, и, несмотря на сорокалетнюю дружбу со словом, не находил таких слов, какие могли бы достигнуть этой души.

И понял, что лучшим ответом на все ее действия будет смирение: именно смирение утишает океаны, гасит огонь ненависти...

Пока библиотеку не расформировали, мои коллеги хотели написать петицию начальнику УСЛОНа против этой странной женщины, которая бог его знает чем занималась, биография которой, несомненно, была полна мрачными, а то и откровенно преступными подробностями, но я отговаривал их от этой безнадежной, самоубийственной затеи.

Зачем? К чему это приведет? Или мы к сегодняшнему дню претерпели недостаточно горя?

Воронину, казалось, мое смирение только злило — и только распалало чувство ее власти над бесправными людьми.

Однажды вечером она пришла к нам в библиотеку.

— Собирайтесь!

— Куда? — встал в позу Петя — совсем мальчик, юноша девятнадцати лет, бывший ленинградский студент-филолог.

Мальчишка, который все хотел что-то доказать...

Он обернулся, ожидая поддержки.

Я молчал.

Другие тоже молчали.

— Больше мы не будем с вами возиться, — сказала она с усталой, счастливой, сонной улыбкой, словно долго ждала какого-то важного письма, и оно наконец пришло, и теперь все будет иначе: счастье, довольство, покой... — За многократное зубоскальство с начальством, — сказала Кондорова, — за неподчинение... Собирайся, Сквородников! — обратилась она ко мне, и это был единственный случай ее обращения ко мне на «ты».

Она обратилась именно ко мне, а на всех остальных смотрела как на пустое место, словно они были не людьми, а деревьями.

Я не возражал.

Коллеги собирались добиться возможности остаться в библиотеке, избежать тяжелого физического труда — у одного была грыжа, другой кричал по ночам от почечных колик, а у Пети оставалось хорошо если десять процентов зрения...

И я при нынешнем ужесточении обстоятельств видел в столкновении прямую опасность.

Я послушно отправился вслед за ней.

Похоже, ей доставляло удовольствие видеть, что у меня не получается. Но я снова выполнил ее поручение.

Как ты помнишь, когда-то все происходящее в стране вызывало у меня только восторг. Я и до сих пор не отказываюсь от идеалов и считаю, что в целом страна движется в нужном направлении. Мне не привыкать.

Я знаю, ты не любишь этих моих размышлений, но...

Как мне видится, мой случай — всего лишь роковая ошибка большого и нужного дела, невиданного в истории антропологического переворота — да, именно! Не только история, но и новая порода людей рождается в муках.

Боясь вредителей, врагов, власти хватают, вынуждены хватать, брать за шиворот всех, кто даже просто стоял рядом.

«Тема роковой ошибки, когда машина машинально перемалывает и тех, кто просто оказался рядом, еще ждет осмысления».

Но в этом письме я хотел коснуться других вопросов.

А именно: кому было поручено исполнять эту благородную миссию? Забыли о том, чему клялись, давали присягу перед портретом Вождя. И почему те, кому доверено исполнять эту благородную обязанность, остаются черствыми и невосприимчивыми как к культуре, добру, так и страданиям других?

В тиши библиотеки я тихо думал о том, что... людям культурным, людям нежного сердца мешает преуспеть какая-то роковая неспособность на какие-то очень простые действия, необходимые для успеха, их нежелание возиться, связываться со всем этим — придумывать уловки, утаивать, продавать втридорога то, что через квартал продается в несколько раз дешевле. Их простое нежелание связываться с этим, занимать всем этим свои помыслы... когда вокруг столько грандиозных дел, действительно необходимых и человечеству, и нашей молодой прекрасной стране.

Некий душевный изъян. Им решительно некуда деть свою энергию!

...И вот, столкнувшись с таким, человек думающий теряется — он не знает, как быть, почему в наше время, в семнадцатую годовщину октября еще есть люди, которые...

Невозможно объяснить свои мотивы тому, для кого это «высокопарщина» и простой звук.

«По роковой ошибке природы эти люди очень сильны. К тому же, по второй роковой случайности, им доставляет удовольствие мучить других. Когда нет сил, нет такого закона, нет философии, обосновавшей закон, по которому над слабым допускалось насилие. Вернее, философия есть, но нет возможности в нее поверить.

Эта женщина, думаю, она добьется своего», — тихо думал я, быть может, в последний раз сидя перед родными книжными полками, если что-то здесь я еще могу назвать родным.

Вот и я, признаюсь со стыдом, беспомощен перед такими.

Когда нет сил, нет и философии.

Вернее, философия есть, но нет возможности в нее поверить.

Тихо я думал в лоне библиотеки.

По какой же ошибке природы злые люди так сильны?

Но средство переломить этот ход вещей должно быть.

*Ваш Яша,
Пока еще в библиотеке*

Я читал кусками, то и дело посматривая на Максима.

Склонившись над книгой, он много раз прочитывал одну и ту же строчку:

— Д-д-должно быть с-с-с-средство. Д-д-д-должно быть...

На мгновение мне показалось, что этот седой, сгорбленный над столом человек только притворяется, чтобы однажды, смахнув с лица привычное беспомощное выражение, громко и победно рассмеяться нам в лицо.

— Максим! — вдруг обратился я к нему. — Почему ты позволяешь так с собой обращаться? Почему терпишь, почему все сносишь без единого слова? Почему не пошлешь ту ненормальную женщину? Или не уйдешь работать в другое место?

Максим перестал читать... Я ждал, что в его глазах вот-вот промелькнет осмысленная искра, а сам Максим, похлопывая по плечу, бархатно спросит: «Ну что, здорово я вас обставил, да? Ты же ведь поверил мне? Поверил?»

Но ничего не происходило. Ничего не менялось в его глазах — пронзительных от природы, но затуманенных дымкой малоумия. Помолчав, Максим продолжил читать, а мои вопросы, казалось, повисли в воздухе, как паутинные нити, и я протянул руку, чтобы поймать и смять их.

— Господи, прелесть-то какая, — в дверях зала появилась завхоз.

Она улыбалась так, как будто увидела что-то очень радостное и светлое...

— Я там, значит, не разгибаюсь, а наш Максимочка... читает. И читает, и читает... просвещается на рабочем месте... за бюджетный счет... Ума набирается, умища-то и так девать некуда.

Максим поднял голову и мелко-мелко закивал.

— Я вот тебе щас понаслаждаюсь, кретин, — угрожающе затрясла указательным пальцем и пошла на Максима. — Я тебе щас покажу, какое оно — наслаждение!

Он подскочил с места и заторопился из зала. Завхоз, идя следом, толкала Максима вшаей.

— Марш работать! Марш!

Надо вмешаться. Надо сказать. Надо повести себя... Надо...

Меня замутило. Я соскочил с места и пошел прочь — никого не желая видеть и слышать.

Я нырнул в туалет на первом этаже и закрылся на щеколду...

Каждую минуту в уборную заходил кто-то новый, двери соседних кабинок открывались и закрывались, время от времени, сливая воду, урчал бачок... Кто-то прочищал горло. Кто-то пердел.

Мне было не по себе находиться здесь, быть свидетелем всех этих интимностей, по каким-то звуковым деталям узнавать людей, с которыми встречался в коридорах, работал, которых обслуживал за кафедрой... Надо ли мне знать, с какими звуками облеγχается Иван Николаич, какую песенку бормочет под нос Марксист («Живописцы, окуните ваши кисти...»), как кряхтит и с легким матерком тужится охранник Володя...

Невольно узнавать про них то, что они предпочли бы скрыть от посторонних глаз.

Но то, что в эту тяжелую минуту приходилось скрывать мне, было гораздо стыднее, страшнее всех интимных тайн, невольным свидетелем которых я был в уборной.

То, что я открыл сегодня в себе, было страшнее...

Я боялся дышать, боялся шевелиться, чтобы, не дай бог, неосторожным движением, звуком не выдать себя...

Иногда кто-то нетерпеливо дергал двери моей кабинки, а затем заходил в соседнюю. И тогда я вздрагивал, вжимался в стульчак, затаивал дыхание, боясь малейшим, неосторожным звуком выдать себя, свое присутствие здесь.

Сколько времени я так просидел — не знаю.

«Средство, должно быть средство...» — вспоминал я слова Сквородникова.

Кто-то, странно постанывая, вдруг зашел в соседнюю кабинку и звякнул щеколдой. В кабинке послышалось знакомое то-ропливое бормотание, постепенно переросшее в нытье, а затем и в громкие влажные всхлипывания. Кто-то плакал в соседней кабинке и по некоторым особенностям я догадался, кто... Этот плач, похожий на слезы обиженного, шмыгающего носом ребенка, производил очень странное впечатление.

Так плакал человек...

И вдруг какая-то невидимая сила, поднявшаяся во мне вихрем, вынесла меня из туалета в коридор.

Не помня себя, я мчался к кабинету завхоза. Навстречу мне вышел и направился к крыльцу — покурить — инженер, который сидел в одном кабинете с завхозом.

Едва сдерживая бой сердца в груди, задыхаясь, я влетел в кабинет — и она подняла на меня лицо, обыкновенное свое лицо с правильными, чуть смятыми возрастом чертами, заштукатуренное каким-то тональным, что ли, кремом. Я вспомнил, что такой однажды, по наущению Кати, подарил маме, «персиковый тон», и мама, стесняясь, намазала лицо и чуть помолодела, а потом пошла умываться с извинениями: «Не сидит на мне, Сереж, не сидит». Я увидел перламутровые комочки на ее нижней губе, и сережки финифть, и зеленую краску на веке.

И тогда, размахнувшись, я ударил что было силы ладонью об стол. Ручки, календари слетели со стола, а я, увидев ее потрясенный взгляд, склонился к ней, к самому лицу:

— Слушай меня, слушай, я сказал.

Второй удар об стол.

— Повторяю... Если ты. Еще раз. Что-нибудь... на него... повысишь голос... скажешь... оскорбишь если! Клянусь, я тебя... своими руками.

Моими слабыми, бледными руками книжного червя. Да. Я это сделаю.

— Кого, — прошептала она, — да кого?

— Максима. Ты поняла меня? Я спрашиваю, ты поняла?

Она кивнула зелеными веками. Страха в ее глазах не было, но в радужке разливалось бескрайнее изумление.

Прикрыв дверь, я прошел мимо ошеломленного охранника, мимо Максима, растерянно появившегося сотрудника и вышел на улицу.

На улице, так же как и утром, ходили люди. Возвращались с работы. Хохотали парочки. Что-то жевали на ходу дети.

И я ощутил, что весна, которую я ждал все эти годы, наконец пришла. Свежий речной весенний ветер повеял мне навстречу.

Казалось, теперь и я чувствовал этот же ветер в своих волосах. А он, этот ветер, проникая в меня, выветривая весь внутрененный мрак, казалось, нашептывал мне какие-то важные, давно искомые слова.

Но произнести их я все еще не решался.

...Из дома я позвонил коллеге Наташе и попросил найти домашний адрес Максима. Наташа сказала хихикающим шепотом, что к завхозихе приезжала скорая, но ничего не обнаружила — ни сердца, ни давления — и обещала слупить денег за ложный вызов. Моя выходка всем пламенно понравилась.

— Представляешь, так и сказали: у вас ни сердца, ни давления! А мы с Марксистом хотели добавить: ни ума, ни совести, ни чести, но, к сожалению, удержались, — вздохнула Наташа, как будто ей и вправду было неловко за то, что они удержались. — Прости нас, мы мелкие малодушные люди...

Максим жил в центре, на красивой улице, в монументальной сталинке с чернокружевными балконами, на которую я всегда посматривал с завистью, потому что шансы когда-либо оказаться здесь для меня были равны не нулю, а минусу. Даже в гостях я здесь никогда не бывал — в моей жизни не было людей, которые могли бы здесь жить, кроме, может быть, одной преподавательницы в университете, вдруг вспомнил я, она

сюда вписалась бы — безупречная леди в безупречном костюме с безупречным пучком. Леди Совершенство без возраста; ее привозил персональный водитель на синем «Порше»; она была миссис кого-то важного — бандита или начальника. Да, ей бы пошел этот дом эпохи репрессанса. Что она читала нам? Кажется, диалектологию. Или старославянский? Неважно. Конечно, она плохо читала, неинтересно, казенно, но ей не было никакого дела до интеллектуального впечатления — все любовались ее статуарной красотой, благородной посадкой головы, бликами на блестящем, гладком пучке волос. Я не хотел ничего и никого вспоминать, все они сплелись у меня в один клубок — персонажи юности, детства, прошлого, настоящего, да и будущего тоже. Будущее было таким же аморфным, такой же текучей медузой, как мои библиотечные годы, — и уже высыхало, истончалось на песке, выброшенное отливом.

Ну что ж, квартира в дворянском гнезде; должна быть и у Максима хоть одна сильная позиция в жизни.

5

Его мать открыла мне и впустила меня как-то сразу — высокая, худая, стриженная под мальчика женщина в белом, совсем не домашнем свитере, — сразу отступила на шаг и очень спокойно спросила, не случилось ли чего. В сумерках прихожей невозможно было и предположить, что ей хорошо за семьдесят, — но она дернула за шнурок бра, и стало видно: скорее, даже восемьдесят, чем семьдесят.

— Все хорошо. Я коллега Максима. Просто поговорить надо, — сказал я. — Очень надо поговорить.

Она кивнула — словно ждала. Мы прошли в довольно-таки захлапленную гостиную — разбросанные книги, цветы, пледы на полу. Обстановка была самая простая, мебель — сильно

потертая, старая, но не как у нас, а старинная, что ли: торжественный буфет, диваны с деревянными спинками... «Породистая обстановочка», — сказал бы Юрка. Она смахнула со стола на кресло ворох неглаженного белья, убрала утюг, поправила скатерть. Представилась: Эльга Александровна.

— Максим говорил про вас, — сказала она, — хвастался, что у него есть друг Сережа, что вы вместе читаете книжки. Я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы... — она поискала слово, — что вы общаетесь... Кофе? Сливки?

Я прошел вслед за ней на кухню — тоже изрядно запущенную, но просторную. Метров двадцать, не меньше, два узких, высоких окна, еще один резной буфет с высокой короной, навесные шкафы темного дерева. Она насыпала кофе в большую медную турку.

— Я увольняюсь завтра, — сказал я. — То есть меня увольняют, но неважно... И я пришел вам сказать, что лучше забрать Максима из этого... богоугодного заведения. Я понимаю — социализация, коллектив... Но мы с ним не вписываемся...

— Мы? — спросила она с некоторым даже интересом.

Я кивнул. Мы. Не буду спорить. Теперь мы — это мы. Одно-го поля ягоды.

— Не знаю, почему так, Эльга Александровна. По отдельности люди все хорошие, славные. А как соберутся для благородного дела, для подвижничества — выходит какая-то дрянь, муть. Пустяки и блекота, как говорил Корней Иванович. Чужаки еще больше чужеют, хамы хамеют... Максим все это чувствует остро, переживает, сформулировать не может...

Кофе показался мне лютым, головокружительно крепким, почти как алкоголь. Сколько ж она положила — пять ложек на чашку? Шесть?

— Его бьют? — спросила она быстро, неприязненно.

— Упаси боже. Но он вызывает агрессию у людей, скажем так, низкого душевного устройства.

— Спасибо вам за участие... Но, видите ли, мир устроен именно так, — задумчиво возразила она. — Так, а не иначе. Так будет везде, кроме дома... У вас есть варианты, у нас — нет...

Она начала рассказывать, как с огромным трудом устроила Максима в нашу библиотеку. Это сейчас не выглядит подвигом — есть квоты для инвалидов... А тогда, десять лет назад, пришлось поднимать на уши юристов, врачей, соработников, знакомых и знакомых знакомых... Даже правозащитники нарисовались откуда-то, хотели скандалить в местной газете, но Эльга Александровна их прогнала, потому что мальчику нужно не только устроиться, но и работать. Она так и сказала этим девочкам, которые, конечно, просто хотели наехать на тогдашнего мэра в пользу: ему же придется ра-бо-тать! Она говорила об этом без отчаяния и без жалобы, абсолютно ровным, нарочито бесстрастным голосом.

— И все равно. Несмотря на то что Максим окончил школу — спецшколу, но все же... На то, что прочитал чуть ли не всю семейную библиотеку... На обладание некоторой физической силой... На добрый нрав... Все равно взяли его только, как говорится, из уважения к прадеду...

Щелчок у меня в голове. Я прямо физически ощутил, как дернулся какой-то переключатель — и тонко потянуло горелым пластиком.

— А кто был прадед, Эльга Александровна?

Она улыбнулась польщенно. Видимо, готовилась к этому вопросу. Поэтому вдохнула и ответила делано равнодушным голосом:

— Мой дед основал эту библиотеку без малого сто лет назад...

— Яков Константинович?

— Да. А вы разве не знали?

— Никто не упоминал, — подавленно сказал я.

Я встал, прошелся по кухне, отметив, что пол не мыли, наверное, полгода... Мою маму бы сюда — ох, она разошлась бы... расцвела бы здесь... Эльга улыбалась спокойно и как-то даже величаво. «Королевственно», — вспомнил я замыленное словцо Чуковского об Ахматовой; оно всегда казалось мне каким-то глуповатым.

— Я хочу поблагодарить вас, — сказал я, чтобы что-то сказать, — за трепетное отношение к историко-литературному наследию вашего деда... за издание писем... я буквально сегодня видел «Письма из небесной канцелярии»... титанический труд. Представляю, с какою душевной болью...

Кажется, она ждала и этих слов тоже — и рассмеялась в ответ молодым ядовитым смехом.

— Ну что вы, Сережа, — сказала она, отсмеявшись. — Мне даже неловко. Это же бел-лет-рис-тика. Это мой муж написал.

6

Письмо Эльги Александровны:

«Милый Сережа!

Я знаю, что вы уволились из библиотеки, мне очень жаль, что Максим лишился такого прекрасного друга. Но кое-что я обязана вам рассказать, чтобы не оставлять вас в заблуждении.

Начну с того, что все хотят написать роман о моем деде. Все говорят: Архипелаг ГУЛАГ! Семинария! Катаклизмы эпохи! Интеллигент на шконке! Но от моего деда осталось очень мало — и очень много.

Из многого: первое, конечно, — это библиотека, второе — само наше странное семейство, которому именно „книжность“, аутическая начитанность помогла выскочить из всех турбулентностей века. Мы были богачами, подлинными богачами: пять больших книжных шкафов — и три из них избежали конфискации. Два шкафа из трех мы благополучно распродали

в семидесятые-восьмидесятые, когда стало понятно, что энцефалит, которым переболел Максим после чудесных каникул в тайге, не оставил нам никаких шансов жить прежней жизнью. Тогда еще длилась эпоха, в которой не было ненужного, бессмысленного знания, — всякое знание было полезно, прекрасно либо опасно, но никогда не мертво; в нашем доинформационном, как теперь говорят, обществе все имело спрос, в особенности велик был спрос на умолчания — лучшую, самую богатую, самую информативную часть речи.

Три дочери моего деда — моя мама и ее сестры — вынесли из книжных шкафов (рассохшиеся дверцы, засранное мухами стекло, провисшие полки) неукротимую волю к жизни и понимание, что книга не делает человека умнее и нравственнее, — но сильнее, несомненно, делает. Массив чужого опыта (в том числе и ложного, что особенно ценно), чужих озарений, рефлексий и заблуждений, попросту говоря: количество чужого вранья, вне сомнений, закаляет и облагораживает. Мы умели выдумывать, различать выдумку — и сопоставлять ее с реальностью. Мы всегда знали, в каком кармане лежит камешек. Трезвый взгляд на мироустройство и свое место в нем — порождение не тоскливой эмпирики, но искрящегося конфликта между фантастическим и действительным. Это такое особое электричество: ударит — и просветляешься. Нас, слава богу, ударило.

В лагере мой дед сошелся с женщиной по фамилии Птицына. Она была разжалованная чекистка дворянского происхождения („захудалого рода“, подчеркивал дед, как будто извиняясь, — ему, сыну деревенского пономаря, это было лестно), осужденная за какие-то финансовые гешефты на службе, — красавица, стерва, умница, дремучая как сапог. Что она нашла в деде — бог весть. Почему-то никто не запомнил ее имени: по одним сведениям, ее звали Глафира, а по другим — Марианна Леопольдовна. Уже в пятидесятые моя мать встречалась с ней в Риге.

Птицына в те годы была женой какого-то председателя передового колхоза и поразила мою мать шубой до полу, обильными жемчугами, короной золотых, нестерпимо блестящих волос и тем, что пыталась говорить с манерным латышским акцентом, но иногда забывалась и сбивалась на совсем простецкий, продавщицкий голос. Она рассказала, что любила Яшу — „просто полюбила, и все, что тут объяснять“, сказала она недоумевающе, — и все шло хорошо, готовились к выезду на материк, просто дед однажды утром пошел в библиотеку, присел на скамейку, посмотрел на небо и умер. Инфаркт. Смерть праведника.

Дед был добрый, умный, порядочный человек, энтузиаст просвещения и, я бы сказала даже, человек Просвещения в его изначальном, наивно-вульгарно-атеистическом смысле. Как и великое множество людей той эпохи, он остался совершенно непроявленным: его подвижничество, его великий труд собирания книг как материала для преобразования человеческой — ни больше ни меньше — природы не были в должной мере оценены ни современниками, ни потомками. Энциклопедическая „История земли Сибирской“, которой он так увлекался, так и не была дописана — но появились десятки, даже сотни других исследований очень пристойного и научного, и художественного качества — что же нам роптать. Интерес к деду возник в конце восьмидесятых, на волне „возвращения исторической правды“ — тогда, собственно, и вспомнили Якова Константиновича, правдами и неправдами добывавшего книги по преимуществу из конфиската, из реквизированного имущества бывших, из уцелевших квартирных и усадебных библиотек (а собственно, откуда еще было их взять в двадцатые?).

Моя бабушка Елена, адресат его писем, к моменту его ареста жила в Москве, они были в состоянии развода или полуразвода — ехать в Сибирь с тремя дочерьми она отказалась наотрез. Это было совершенно удивительно, потому что до того ее жизнь была почтительным служением Яше, его изысканиям, его

высокой миссии, его ночным бдениям, — но отказалась. Однако она рванула в Сибирск, когда деда арестовали как бывшего белогвардейца (хотя его служение при Колчаке в скромнейшей должности путейского техника по тем условно-вегетарианским, пристрелочным временам начала тридцатых не считалось чем-то заслуживающим внимания). Она как-то сумела восселиться в опечатанную квартиру, к трем книжным шкафам, — криком, ором, мольбой — как-то сумела, тогда еще было можно, трамвайные навыки еще что-то значили. Поражает то, с какой решительностью она оставила Москву — квартира не пропала, благо у ее брата, там же прописанного, было немалое семейство, но когда моя тетка, поступив после войны в МАИ, попыталась там переночевать, то ее кухни зашипели как змеи; они оказались столичным калашным рядом, а моя тетка — провинциальным свиным рылом. (Ну и ладно: через год она вышла замуж за директора комиссии и до самой смерти жила на Чистопрудном бульваре в холе, довольстве и уважении.)

Через год после вселения Елена совершила почти немислимое: добилась свидания с мужем. Помогли старые товарищи-партийцы, имевшие выход к Надежде Константиновне Крупской, — она хоть и не была уже в большой силе и влиянии, но оставалась еще у кого-то инерция уважения, да и Якова она немного помнила. Ко всеобщему изумлению, свидание длилось целых семь дней — и сильно повысило акции Якова в его печальной среде. То письмо, где Яков пишет про складочку, действительно написано им — и еще одно, где он рассуждает о людях с нежными и грубыми сердцами. Тогда он, похоже, действительно не знал, что Ястребова-Воронова-Щеглова наметила его себе в сопутники жизни. Почему его? Мы не знаем. Возможно, и на нее произвели впечатление факт долгого свидания и некоторая лояльность начальства (им самим, кажется, не особо замечаемая), и она заподозрила его в тайных привилегиях, а может быть, он просто понравился как полная ей

противоположность. Темна вода во облацех, Сережа, а женское сердце еще темнее. Но мне радостно думать, что его последние годы прошли не в ледяном одиночестве, — при этом бабушку он, судя по немногим доходившим письмам, любил как прежде и почитал как никогда. Не буду спекулировать о земном и небесном, об агапе и эросе, но если искать ответ, то, наверное, где-то здесь, в этом направлении, в этих полях. Что, согласитесь, тоже неоригинально — но уж как есть.

Эти два письма inferнальница Птицына передала матери вместе с томом стихотворений Николая Тихонова — там есть одно чудесное, оно стало нашим домашним гимном (да, мы всегда умели весело жить и в самых прискорбных обстоятельствах): „За все города и колхозы, / Что подняты нашей рукой, / Мы пьем за туркменские розы, / За льдистых полей непокой...“ Не всем же „военные астры“, правда? Советская поэзия — это великая страна.

Мой муж Аскольд — довольно известный математик, профессор — придумал все остальные письма в порядке, что ли, литературного упражнения. Там были фрагменты псевдодневника и целые псевдописьма. Как и многие люди его круга и поколения, он считал, что всякому естественно-научному человеку доступно любое гуманитарное знание, в то время как гуманитарии высокая физматстихия не доступна ни на копейку. Мне не понравился эпистолярный герой — этот скулящий, довольно эгоцентричный, ограниченный человек, этот Макар Девушкин сибирского извода, более того, я уверена, что с моим сильным, энергичным, деятельным дедом у него нет ничего общего, но Аскольд искал некие „психологические глубины“, контрасты, вторую личность и тому подобное; математики любят выморочные конструкции. Мы подарили рукопись одному нашему приятелю (он торговал ангорскими кофточками, но подумывал о создании музея) и забыли про нее. В середине девяностых он вдруг позвонил с известием, что у него

в соседнем городе открылось издательство „К родному порогу“ — он намеревался издавать домашние архивы пострадавших от репрессий. Спрос на такую литературу уже шел под горку — полстраны ощущало себя репрессированными по другому, экономическому признаку, но он рассчитывал, что наследникам можно не просто не платить гонорары, а, наоборот, гонорары издателю должны платить они. Нам он предложил целую тысячу долларов, и мы не устояли — это было совершенно роскошно, это были четыре зарплаты Аскольда по тем временам. Так, можно сказать, дуриком, чертом из табакерки, вышла эта полумистификация, собранная на коленке, толком не вычитанная ни одним корректором, в тонком, мгновенно расклеивающемся переплете. Обозначение жанра — „эпистолярный в одну сторону“ — допускает и документальность, и художественность; молодой дурак-обозреватель в городской газете отрецензировал ее как трагический, горестный, но возвышающий документ эпохи, написал что-то про силу сибирского духа и, конечно, про силу культуры, а библиотека немедленно вспомнила, кто ее создавал, и оформила пару стендов. В девяностые было возможно все. Тираж был совсем крохотный, и успел ли он отбиться — мы не знаем, потому что нашего друга-книжника вскоре взорвали на собственной свадьбе. Взрывали вообще-то его тестя-банкира, а новобрачный пошел за компанию, в те времена о политесах как-то совсем не думали. А потом сгорел склад издательства — я подозреваю, что тоже за компанию. Эта книга — дитя тех времен, и она заслуживает уважения уже потому, что ее страницы во всех смыслах написаны кровью.

Максим любит эту книгу, он читает ее и дома, и на работе. Аскольд угадал что-то важное, взял какую-то верную интонацию, придумывая бесконечные жалобы Сквородникова, — этот тон, совершенно чуждый всему нашему семейству, удивительным образом влияет на Максима, он находит в нем какое-то умиротворение — и читает, читает, читает...

Аскольд ушел полгода назад; мой уход тоже не за горами, и я постараюсь расстаться с этим миром опрятно. Опекуном Максима я хочу сделать Ирину Владиславовну, завхоза, на которую вы так неразумно, несправедливо напали. Эта отвратительно грубая женщина с добрым сердцем — единственный человек, которого Максим беспрекословно и абсолютно слушает, а меня он может и ударить, если его что-то тревожит или раздражает. Дома у нее — такой же сын, чуть моложе Максима, и она умеет управляться с такими детьми, а я, к сожалению, так и не научилась.

Но пока я жива, Сережа, пока все мы живы, пока есть слух, и зрение, и любопытство к человеку — заходите поболтать со мной и с Максимом. У меня осталось еще две полки старых книг из дедова шкафа — не в библиотеку же их отдавать, в самом деле. Шкаф дубовый, красивый, черного лака — и, как и все прочее в нашей семье, прекрасной сохранности. Должен же быть какой-то способ передать его в хорошие руки».

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя. Библиотека как способ прозрения	3
Часть I. Объект и предмет, контуры зверей на небе, «ишь расселся!», поцелованные пингвинчики и почему мама становится маленькой	5
Часть II. О вырожденческой сущности и городе Солнца за углом, а также о таинственном Аскольде, слезах относительно богатых и извлечении мёда из противной субстанции	43
Часть III. Просто благословенные дни	85

Литературно-художественное произведение

Сергей **Петунин**

ИНКЛЮЗИВНЫЙ

Библиотечная повесть

Руководитель издательского проекта *Роман Косыгин*

Литературный редактор *Евгения Долгинова*

Дизайн *Александр Петриков*

Верстка *Елена Фомина*

Корректор *Елена Елисеева*

Подписано в печать 15.11.2022.

Формат 64 x 90¹/₁₆. Гарнитура Charter.

Тираж 500 экз.

Заказ №

АСПИ

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1

Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»

109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5

t8print.ru

16+